

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



КРАХ

ПОВЕСТЬ

Друг

Култук извилист, как кровеносная система человека, и потаён, как его совесть. Если смотреть на посёлок с крайней сопки серпантина, то сразу ослепит сияющая бездна Байкала. Потом глянешь на бугристую зверину Хамар-Дабана, заросший вековым сосняком его тёмный хребет, Слюдянку на дальнем берегу, укромно притулившуюся к лапчатому подножию этого древнего и могучего образа змия. И только потом нестройно и развалисто, как смертельно уставшее стадо, подвалит к сопке поселение Култук, разношёрстное, разнокалиберное, с сереньким пробором бегущего в Тунку Московского тракта. Зелёным летом и златотканой осенью, когда посёлок весь не виден, он кажется небольшим, а вот как оголится зимою, разглядишь все его скачущие по сопкам и распадкам улочки и переулочки, хуторки и отдельные, заброшенные уже домишки. И тогда увидишь его целиком. Он крупный и ладный...

Култук живёт по низинкам, в распадках, расщелинах, и потому день его короток, а ночи темны и непроглядны...

Говорят, он гораздо древнее обозначенного его более чем трёхвекового срока, но старина мало наследила на этих топких прибайкальских берегах. Может, потому, что первые его века в основном населяли кочевые тунгусы. Они останавливались в юртах ненадолго. Грудились вокруг редких русских изб и уходили по потайным, только ими известным тропам, оставляя за собою ребристые остовы после юрт и золу кострищ.

СИДОРЕНКО Валентина Васильевна — поэт, прозаик, живущий и работающий в Иркутске, автор трёх стихотворных и четырёх прозаических книг, состоит в СП России. В 90-х годах прошлого века главный редактор легендарного патриотического издания "Литературный Иркутск".

Старина посёлка гремит кандалами каторги, её этапами и терпким потом неволи. В начале прошлого века здесь гнездились разбойничьи шайки... Тракт-батюшка, он всем кормилец. Он всех укроет. Тайны его выветриваются ветрами, как листва по осени... Во мхах тайги прячется... Ветра в Култук непрерывные... Во-первых, ветряная жила надувается здесь особо после листопадов и дует всю зиму, да так, что снегу почти не остаётся. А во-вторых, лес вырубил, ветряки летят разгульно, напрягаясь до ураганов, выметая всё до промёрзлой земли, обнажая ухабистые пути и огороды, заставляя култучан топить печи с утра до вечера.

Тускло, холодно, неприятно в прибайкальском посёлке зимою, и я, считавший себя если не знатоком, то ценителем старины, не любил его. Современный Култук — постсоветский... послевоенной постройки. И я не понимал своего друга Глебушку, который ещё при Советах купил дом сходу, на скорую руку, у Савки-цыгана. Купил, посмеиваясь над собою, и историю покупки, уже переплавляющуюся в легенду, знают все гости Глебушки.

Сам Глебушка — эдакий славянский детина, белёсая, часто мигающая громадина. За богатырский рост я в шутку прозвал его Филиппком. Детская простота его, столь редкая в наше время, сообразна его телесам, а потому народ крутится вокруг него водоворотом. Он, как берег: кто ни прихлынет — всех примет...

Дом, который купил Филиппок у старого цыгана, строил кузнец Василий. Цыган Савелий по жизни и духу, как и положено цыгану, скиталец. Цыганка его сгинула на крутых перекатах жизни ещё на заре его разбойничьей юности. Он и имени её не помнит. Попал в Култук со своим табором, возвращаясь из Монголии, где он и оставил в степной выветренной земле свою юную цыганку, которую меткий монгол подстрелил вместо зайца...

В Култук ему понравились сквозные, непрерывные ветра, сходные с его кочевой жизнью, и молодая бурятка Айна... Думал, останется на сезон, а там догонит табор... Но его позвали в кедрачи бить шишку, потом лушил... Продавал на тракте... Копейка по тем временам была увесистой. Он купил себе доброго хрому сапоги, бросил бурятку, которая принесла ему чистого бурятёнка. Этого Савелий не стерпел, ушёл в заброшенный железнодорожный пятистенки. Из него он и ушёл на войну. Воевал с десантом на Кавказе, где и встретил крымскую татарку Загиду, которая спасала его в заброшенном родовом зиндане. Кормила-поила, мыла раны козым молоком, и лунной ночью вывела его на потайную горную тропу, и поцеловала. Этот поцелуй сочных и горячих девичьих губ цыган помнит всю свою жизнь.

Вернулся он в Култук... Табор его война раскидала, как колокольный трезвон стаю голубей со звонницы. Несподручно стало ему скитаться одному. В Култук Савелий пристроился к конюшне, пока был колхоз... Жил там же, на отшибе старого железнодорожного полустанка. Бабёнки иногда водились, но всё студёные какие-то... Безбытные... А он всё думал о Загиде... Ещё в колхозе Савелий сошёлся в застольной дружбе с кузнецом Василием. Тот жил со своей старухой в самом конце глухого распадка. Как и большинство послевоенных домов, это был самострой, с “голландкой” на “стаканах”, то есть громадных чурках из лиственника. Огород Василий корчевал сам, сам сладил себе шитик, смолевал его на берегу Байкала и рыбачил ночами, а утром выносил свежий улов на тракт, где рыба сбывалась мгновенно. На добытое он пил и гонял свою статную красавицу супругу со странным именем Ариадна... Соседи звали её Аришкой и очень удивлялись, отчего эта черноокая, красивая, как картинка, не бросит этого полудикого сыча Василия. Детей у них не было, но какая-то тайна цементировала их брак...

Савелий сам любил кузнечное дело, и они попивали с Василием, бывало, неделями... Благо, что колхоз в Култук порешили... С ним и конюшню, и кузницу. Пенсии у них были военными, фронтовиковыми...

Бедная Ариадна померла от беспринотной своей жизни, унеся свою страшную тайну в могилу. Савелий переселился к другу... Теперь все попойки оснащались воспоминаниями о возлюбленных друзьях. Выяснилось, что Василий любил Ариадну без памяти, а старый цыган хранил верную память о своей ласковой татарке Загиде...

Через год после смерти жены истосковавшийся по ней Василий ни с того ни с сего попёрся в тайгу зимою и пропал...

Савелий нашёл его под самой Чайной, присевшим на корточки и скрестившим руки на груди... Нашёл он его у той самой сосны, которую не велел рубить никогда. Сосна мрачная, старая, вся в шершавых наплывах... На неё никто бы и не позарился...

После похорон, бесслёзных и немногочисленных, к Савелию зачастил сосед Казимир, завистливый и жадный лях. Весь в пухлых ямочках, Казимир всё всплёскивал сдобными оладушками ладошек и намекал старому цыгану, что тот на дом прав не имеет, и дом должен отойти ему, Казимиру как соседу. Савелий выбросил во двор уже было начатую бутылку култукского суррогата, за бутылкой, потирая шею, вылетел сам мягкий пончик соседа...

Обозлённый Казимир грозил судом и милицией, тогда Савелий и вынул из-под клеёнки на кухонном столе лист клетчатой странички из школьной тетрадки, где пьяными каракулями кузнец Василий дарил дом Савелию...

Эту бумажку в одной из пьянок расчувствовавшийся Василий торжественно преподнёс другу. Цыган унёс эту бумагу в поссовет, и там без проволочек оформили дом на фронтовика Савелия. Выморочные усадьбы — большая головная боль для посёлка. Да ещё на краю глухого распадка. Пожары, шпана, подростки, беглые каторжники... Кто только не угнездится в брошенном в глухоте доме... Дарственную оформили сразу. Цыган преподнёс к чуткому носу ляха чёрную свою костистую дулю и впервые за всю свою жизнь вошёл в собственное жилище. Первый год он был очень доволен этим обстоятельством.

Целый год Савелий что-то колотил, мазал и подкрашивал в доме. Даже дрова выписал, сложил их в дровянике... Завёл курочек, хотел было кроликов завести. В кладовых у кузнеца ещё оставался прессованный жмых после зверопромхоза... Тогда все песцов держали и всякую всячину... Но цыганская кровь взыграла... Затосковал он по Загиде, по просторам... Кибитки снились, пыль донецкая, куры в пыли купаются... Хотел было дом продать, да кто ж его купит? Какой дурак... Так что денег на дорогу не то что до Крыма, до Иркутска не было.

Тут Казимир-лях опять подсоседелся. Принёс дорожную водку... мяконию. Вначале всё подбивал отдать дом задаром. На дрова, мол, разберу... А то пожар божьи устроят... Потом сулил пятьсот рублей... Цыган упорствовал. Упирался: “Нет. Пусть сгорит. Может, и не сгорит”. Казимир всплеснул пухленькими оладьями рук и пошёл к своей Сарочке за деньгою...

Казимириха — баба прижимистая, и долго раздумывала, поить ли соседа. В другое время она бы и не подумала раскошиться на ненавистного цыгана, но она уже размечталась устроить в усадьбе соседа небольшую свиноферму или птичник... Очень получалось выгодно... Поэтому Сара Ефимовна залезла в свой загашник и выдала румяному супругу требуемую сумму.

Савелий мало-помалу уже готов был отдать дом за “Гжелку” и билет до Москвы поездом, но тут подвернулись мы... Вернее, Филипок с мольбертом...

Очень ему понравилась полузаброшенная усадьба. Банька, крытая ещё дранкой, чёрное бревно амбарчика... Пока Филипок устраивался, раскладывая краски, я вошёл в дом как бы попить водички, услышал переговоры стариков за “Гжелкой”. Цыган, глянув в окно, пристал к художнику, как банальный лист к заднице: “Чего его рисовать... Ты его купи... Дёшево отдам... почти бесплатно!..” Он сам раза два сбегал за “Гжелкой”, и Филипок, сам того не ведая как, оказался хозяином дома.

Цыган исчез в тот же день, как его чёрная длань зашуршала купюрами. Казимира хватил удар, а Филипок уселся на лавочку у бани и ухмыльнулся. “Сбылась мечта идиота”, — сказал он и тяжело вздохнул...

Цыган появился через месяц. Без копейки денег, ободранный, заросший, с шерстяной пегой растительностью на лице. Страшный, как чёрт...

Савелий сам по себе цыган-цыганом. Кудлатый, черноглазый, костистый, с жилистыми ухватистыми руками. Вообще-то он не без приятности, но имеет привычку прищуривать левый глаз в шнурок при добром здравии

и широко открывать его, когда теряет спокойствие. И тогда становится зло-веще страшным... Хотя у него круглые глаза, почти приятные.

— Савельюшка! — с ядовитой ласкою тянул, встречая его, завидущий Казимир. — Тебе, поди, жаль дома своего! Потеря немалая!

— А я ниче не потерял! Чё жалеть? Всё при мне! Счас вот с Глебушкой пузырьк раздавим за твоё здоровье... Казик! Огород мой... Где хошь, че хошь сади! Чего жалеть. Это тебе жалко, что халявного свинарника не досталось!

— Ах, божечко ты мой! — Казимир всплескивал пухлыми, изнеженными ручками. — А мне это надо?! Морока одна от твоего дома: пыль да грязь. От вас одуванчики к нам летят и тараканы ползут!

— Тараканы! Да ты сам таракан... Рыжий вон, как таракан! Лях он и есть лях!

— Я тебя посажу!.. За разжигание национальной розни!

— Здрасьте-мордасте! Лях цыгана посадит... Да я свистну, от твоего ко-собокого дома гвоздя не останется.

— Ой, божечко дорогой! Сара, за что нам такое испытание! Нам, ви-дишь ли, его дом нужен!..

Сара, как правило, давно стояла у ворот и, подперев постные свои бока тёмными руками, молча наблюдала за мужиками.

— Казик, иди домой. Ему ничего не докажешь. Он же цыган! Нужен нам его дом!

— А чё ж вас так кособочит! Ишь как перекосило! Рожка-то у тебя вон нараскоряку пошла! — Савелий надевал рюкзак на жилистую свою согбенную уже спину и, тряхнув буйными ещё кудлами, раскрывал левый глаз. Казимир отскакивал от соседа, а его тёмная, как подошва, супруга поджимала холодные губы и уходила в свою ограду.

А вообще-то соседи жили мирно, и Казимира тянуло в усадьбу Филиппка, особенно когда там появилась Элька Копилка...

Савелий очень даже пригодился Филиппу. Дом топил, гостей, коих посы-лал Глеб на Байкал, встречал. Дрова, как фронтвик, выписывал бесплатно. И фронтвой его паёк как нельзя кстати съедался во всех наших застольях... Но цыган есть цыган — птица перелётная. Он измотался, сидючи в усадьбе, как на каторге, и в один прекрасный день, обязательно сообщив Глебу, что сбегает за сигаретами, исчезал надолго... Раскрыв свой страшный глаз...

С раскрытым наотмашь глазом он и возвращался — худой, чёрный, весь в коростах и ссадинах. Долго мылся в большом тазу прямо на улице. Потом он долго врал нам с Филиппком о своих мытарствах в поисках Загиды, любовь к которой обрастала всё новыми подробностями. И мы слушали, а когда он утомлял нас, то, сбегав за “Гжелкой”, направлялся к ненавистному ему ляху, с кем вообще-то сроднился не менее, чем с нами. С Казиком он пил на покосе, за огородом, якобы втайне от Сары, которая зорко следила из кухонного окошка за собутыльниками.

— Пустоголовый, — вздыхала она о цыгане, — с его пенсией давно бы купил домишко в Култуке! Ему и пайка бы хватило на прожитьё...

Иной раз, видя бесшабашное мотовство цыгана, она и сожалела, что в своё время, сразу после войны она не завлекла цыгана — стройного, молодого красавца... Но тогда у него, кроме красоты и гармошки, ничего не было. А Казик всегда был серенький, но руковит, прижимист, имел дом и бондарничал, зарабатывая этим копейку на сытную жизнь... Со сладкой присыпкой. А цыгана... его не переделаешь!

Однажды Савелий вернулся из своих скитаний с женщиной. Кучерявая подруга, бойко шествовавшая за цыганом, знаменитая на всю округу Элька Копилка. Многие принимают её за дурочку. Диагноз у неё, скорее всего, имеется, но иногда я думаю, что той же Сары, которая очень любит поизде-ваться над нею, Элька будет помудрее. Её прозвали Копилкой потому, что она всегда ходит с аляповато раскрашенной гипсовой копилкой, изображающей kota. В широкую прорезь копилки хорошо бросают на вокзалах и база-рах. А когда копилка наполняется, Элька идёт на почту, торжественно раз-бивает её и всё до копейки переводит сыну в колонию, где он отсиживает второй свой срок. Если кто спросит, за что сидит её ненаглядный сыночек,

Элька ответит немедленно: “Ни за что... Места там много! Я сама видала. Вот и набирают с народу... Вон они, аллигаторы, мильоны у их! Это ж сколько воровать надо за такие деньжищи. День и ночь воруют, а потом милицию покупают... Я сама видала! А у наших денег нету, они за копейку сидят. Счас за мильоны не сядят... За копейки всё больше...”

Вид пришелицы вызывал у нас симпатию. Лицо у неё мягкое, широкое по-бурятски. От матери-бурятки. А глаза красивые с синевою, от отца — беглого серба. Кудри свои, чуть с проседью. Савелий встретил её на вокзале, бросил красивую бумажку в прорезь копилки и глянул в глаза разублававшейся женщины...

— Конечно, это не Загида, — заметил Филипок, — но объект очень интересный.

Он помахал в знак приветствия паре рыжей своей громадной дланью и пошёл в дом готовить новый холст.

Надо сказать, что присутствие женщины внесло в нашу холостяцкую усадьбу весомое разнообразие. Во-первых, Эльвира преобразила баню, выскоблив её до блеска, заставив Савелия купить постельное бельё, и набросала на всё возможное множество салфеточек и занавесок, которые она привезла с собою. Во-вторых, она каждый день пекла блины, ажурные, как её салфетки, и розовыми стопками приносила их в дом, к неистовому восторгу полуголодной нашей братии. В-третьих, по её указу Филипок прибрал двор и подметал его нещадно по утрам...

Цыган и тот привёл в порядок дикие кущи своей бороды и умывался на ручье каждое утро.

Ко всему прочему, завершая полноту усадебного быта, ко двору прибился рыжий прилудный кот с отороженным ухом. Наглый и неотвязный, как все рыжие, очень похожий на Филипка, который тут же назвал его Мартыном.

Жизнь в усадьбе забурилась кипящим котлом. С самого утра по двору раздавались Элькины гласы, и пахло печевом. Котяра вздымался на навёршие ворот, цыган садился на скамеечку и крутил свою самокрутку. Наконец, в ожидании блинов, зевая и покашливая, на крыльце появлялась гостевая братия Филипка, ныряла в сортир, потом вяло шествовала на ручей...

Чай пили подолгу под черёмухой. Эльвира была главным украшением застолья и хорошо понимала это...

— Нет, старик, что ни говори, а женщина — это вещь! — приговаривал Филипок, поедая очередной блин.

— Если это женщина, — ухмылялся я, намекая на длинную череду “подруг художника”, опоясывающую усадьбу летом... Они приезжали без предупреждения, сразу раздевались, пеклись часами под солнцем, много пили и требовали их писать...

Эльвира кормила нас сытно, по-деревенски и с удовольствием. Казимир всё норовил попасть на наши застолья, его суровая Сара бдила зорко, да и цыган не любил соседа.

Всё бы ничего, но Эльвиру с Савелием разобщила одна страсть. Это одержимость скитаниями. В один прекрасный день Элька прижимала копилку к груди, отправляясь на вокзал, и не возвращалась. Она шла вокруг Байкала. Однажды обогнула его пешком до Горячинска. За ней исчезал цыган, предупредив, что сбегает за сигаретами. Двор осиротел... Филипок водружал свой мольберт на плечо и шатуном шатался до закатов по окраинам посёлка. Кот Мартын ложился посреди проезжей дороги у дома в ожидании хозяев, а в дом почти не заходил. Я топил печи и варил супы. По закатам выходил на дорогу к Мартыну и ждал Филипка, глядя на Байкал.

Озеро иной раз менялось поминутно. К осени оно как бы обретало покой и развёрстывалось перед небесами доверчиво и спокойно. Иногда мне казалось, что я слышу звуки их беседы. Только разобрать, о чём они говорят, я не мог. В последнее время мне показалось, что я улавливаю связь между человеческими событиями и состоянием Байкала. Впервые я подумал об этом, когда Филипок только купил дом, и в один из первых своих приездов к другу я застал в посёлке похороны целой семьи после кровавой драмы,

разыгравшейся накануне. Филипка дома не было, он шатался по пленэрам, а я пошёл к Байкалу. День был жаркий, осень горела листопадом. Я слушал едва доносящиеся до берега озера звуки похоронного марша и плачи, присел на брёвнышко и глянул на Байкал. Озеро было чёрным. Ещё час назад, когда я сошёл с электрички, озеро было алмазным, блистало на солнце безмятежно, как ребёнок. Оно было синим...

Вообще-то по сути я горожанин... Урбанист. Дитя своего времени. Средней, как мы тогда острили, паршивости. Учительский сыночек, зубрила. Вышколенный до бледности. Читающий по ночам под одеялом запрещённые книги... О любви...

Потом студент, остряк, балагур. Течение жизни казалось бурным, и я легко и весело поддавался ему. Как-то меня сразу взяли в молодёжную газету, на страницах которой я довольно часто размещал свои опусы. Кавээнил без продыху. В общем, парился как золотомолодёжный, хотя недостаток моих родителей был не более чем скромным. Девиц было много... Поначалу я гренадёрил, позже донжуанил... Таких, как я, было много по тем советским безмятежным временам.

Ирина

Ирина вошла в мою жизнь незаметно и буквально прилипла ко мне. Маленькая, большеботая, лишённая всяких знаков женственности, вдобавок с кочевыми вогнутыми ногами... Не было в ней буквально ничего, что бы мне нравилось. Я любил породистых светлых женщин, высоких и статных... И не терпел так называемых творческих женщин. Особо не любил поэтесс и актрис... А Ирина актрисушка средней паршивости, её амплуа — травести. Играет в местном ТЮЗе мальчиков и девочек. Гаврошей и Мальчишей-Плохишей. Наденет на острую мальчишескую свою головёнку кепку с громадным козырьком. Из-под кепки видать одни уши и широкий, до ушей, лягушачий рот. Впрочем, на звёздность она никогда не претендовала. Понимала своё более чем скромное место в театре.

Уделом Ирины было обожание, обожествление кого-нибудь. Страстное, болезненное, не давшее ей и её избраннику ни дня, ни ночи покоя...

Невероятно упорная, она буквально преследовала меня... Я и не заметил, как привык к её постоянному присутствию, восхищению, услужливости. Она доставала билеты на приезжих див, на выставки и концерты, кормила меня в забегаловках, подбирала одежду. Скандалила в редакции, когда меня пытались выпроводить из газеты.

Я женился на ней из благодарности. Первые годы супружества летели стаей. Мы с Ириной жили вдвоём в собственной, но совершенно безытной квартире. И как бы на биваках. С утра кофе, сигареты, перекусы. И бегом... На премьеры, выставки, спектакли, концерты... Вечно какое-то новое имя, книга, которую непременно нужно достать, иначе она гроша не стоит...

Обеды комплексные в ресторане. Рубль пятьдесят... С собою булочки... Готовить она до сих пор не научилась...

Как ни странно, в эту пору возникла непреодолимая страсть между нами. Не то чтобы я полюбил её, но обходиться без неё я уже дня не мог!.. Постель наша так и не застилалась...

Лет через семь брачной жизни нашей Ирина вдруг заговорила о детях. Вначале вкрадливо, потом жажда сына овладела ею целиком. Она без конца говорила о детях. Даже игрушки покупала. Наконец, сходила к врачу. Вернулась опечаленная...

— У меня бесплодие! — с яростью выпалила она.

Несмотря на годы супружества, Ирина так и осталась подростком. Полумальчиком в протёртых по моде джинсах, с короткой стрижкой и подростковой порывистостью.

Надо сказать, что я испытал некоторое облегчение. Я никогда не был готов к отцовству. Да и вообще, милые детки — это не мой конёк. Я изобразил, однако, некоторую печаль на лице и попытался её утешить:

— Не волнуйся, сейчас такая медицина. Она сотворит нам деток!

Ирина оттолкнула меня с отвращением. Она почувствовала фальшь.

Начался долгий, бесконечно нудный период лечения её бесплодия: анализы, капельницы, санатории, грязи... Обязательный механический секс, и её нарастающий холод ко мне... Ей сделали операцию на яичники... Их вырезали, опасаясь рака. Она лежала в больнице, от всего отрешённая. В казённой белизне постели были видны её лягушачий рот и большие, отведённые от головы уши... Жаль её было до слёз. Я бормотал, что живут же и без детей, что и мы проживём! Она меня не слышала.

Как-то сразу у нас разладились отношения после операции. Я вдруг потерял тягу к ней как к женщине. Долгие годы, особенно в пиковые, раскалённой нашей страсти, когда она входила в комнату, я чувствовал приближение женщины. Я чуял её, как sameц самку во время гона. Теперь же этого чувства я не испытывал. Ирина понимала всё и избегала меня. Она ещё чего-то долечивалась, ездила по санаториям, и мы виделись всё реже...

А я жил у Филипка безвылазно. Шатался с ним вокруг Байкала, стоял с Мартыном посреди дороги в ожидании друга, встречал скитальцев и истреблял Эльвирины блины. В ту осень я кашеварил и часто забирался в лес собрать грибов. Уже отошли белые, но поползли по берёзам опять. Кое-где уже попадались грузочки, свежерождённые, и, срезая их, я испытывал какую-то мистическую радость. Так я шёл за груздями, набрал почти полную корзину, проголодался, решил, что пора возвращаться, и вдруг понял, что я зашёл слишком далеко и не знаю пути возвращения. Вначале я пытался пойти по памяти, потом по солнцу, которое немедленно скрылось. Так часто бывает на Байкале. Погода меняется на побережье по нескольку раз на дню. Сразу после искрящегося златом сияния чёрными змеями налетели тучи, древним зыком рванул пространство верховик, и откуда-то с Байкала понесло сырой водою, промозглостью... Я тут же продрог насквозь, поскольку высочил при жарком солнце, в одной рубашке, на полчаса.

Присев на колодину, я лихорадочно соображал, что Филипок явится только к вечеру домой и решит, что я уехал в Иркутск на вечерней электричке. “Цыганский табор” разбежался на этой неделе... Значит, никто меня искать не будет. И я замёрзну... Уже к утру, потому что запахло снегом, и к утру уже ударит морозец.

Паника охватила меня. И я начал кричать, бестолково, до хрипоты, во все стороны. Я не помню, что я кричал, но что-то безумное... Охрип я быстро. Потом молча куда-то шёл, потом сел на колодину. И вдруг вспомнил Ирину, санаторий в Прибалтике, когда я приехал к ней после очередной и долгой нашей размолвки. Она встретила, как будто я с войны живым вернулся. Что-то давно забытое сквозило в ней тогда. И детская доверчивость, и восхищение мною, и робость, всё это придавало нескладной её фигурке притягательное очарование... Давно забытая страсть огнём вспыхнула в нас. Мы вновь полностью друг друга. Со всем оставшимся ещё в нас пылом молодости, но уже убродившим и крепко-зрелым, как вино. Под жгучими порывами уже пахнувшего снегом ветра я вспомнил вдруг Рижское взморье, чистый холодный песок, на котором ранним-ранним утром мы занимались с Иришкой любовью, и дымку горизонта, и белые кучерявые в пене волны, и всё это сливалось в единой палитре... Дымчато-прекрасной, спокойной и отстранённой, как небо над взморьем... В это утро она трогательно призналась мне — ей оставили несколько миллиметров яичника...

Я уверен, что наш Сева был сотворён в это утро... Когда он появился на свет, Ирина тут же забыла обо мне... Вернее, я ещё оставался нужен... На подхвате: сбежать в молочку, стирать пелёнки, шастать по магазинам... Ирина никогда не умела делить свою любовь... Она растворилась в Севе...

Назвала его Всеволодом в честь отца, и долгое время наша обитель жила только чиханием, кормлением, цветом детской неожиданности нашего младенца. За это время квартира наша обросла бытом. Появлялись занавесочки, салфетки, посуда, кровати и диваны. Из кухни без конца чем-то пахло... Зато книги стали мешать хозяйке, и я потихоньку увозил их Филипку. Там читал, перечитывал, оценивал этюды друга и не заметил, как почти переселился к Глебу...

Как ни странно, Сева, мальчик наш, рос не избалованным, а очень послушным. Тихий, даже какой-то затаённый, очень похожий на мать... Такой ушастый лягушонок, с глубокими чёрными глазами... Он как бы предчувствовал свою гибель и всё думал о чём-то своём...

— Я выдрала его у Бога, — повторяла Ирина, — двумя миллиметрами своих яичников.

Супруга обрела полнокровный смысл жизни, с лихорадочной, присущей ей страстью она творила из него гения. Ирина записывала его во всевозможные кружки, на занятия. Бедный мальчик продыху не ведал, уча три языка и занимаясь в школе с математическим уклоном... Она хотела воплотить в сыне то, что безуспешно пыталась разглядеть во мне...

Видит Бог, я не хотел, чтобы наш Сева увлёкся роком... Но жена на мои доводы высокомерно усмехнулась и ушла в другую комнату. Очень она любила эту высокомерную насмешку, приговор моей отсталости от жизни. И наш послушный мальчик утонул в этой бешеной энергии, выплеснув в ней фонтан своей, задавленной матерью, от неё же унаследованной...

Через год его посадили на наркоту, и подростком он послушно сделал себе “золотой укол”, оставил письмо, прося прощения... И умер!

Я осознавал и сам, что был неважным отцом, но та ненависть, лютая, ледяная, необратимая, которую источала ко мне жена после смерти сына, вводила меня в ступор. Ирина возводила меня в убийцы сына. Её злорадно-ироничный взгляд пламенел ненавистью...

Я вспомнил о своей семье сейчас, вспомнил так, как вспоминают перед смертью. “Может, это и есть моя смерть, — подумал я. — К утру я замёрзну, и меня могут не найти до весны... И всё. Всё! Умру, не создав семьи, не оставив сына, бездомный. Даже книги стоящей не оставляю...” И я вновь закричал... Неистово, до бешенства, охрип, вглядываясь в чащу леса, в самую его сердцевину, словно надеясь узреть желанную тропу ко спасению. Но вокруг становилось всё темнее и безнадежнее. И кричал в небо, в единственный просвет вокруг меня: “Спаси меня! Господи...” А когда я глянул вниз, то увидел Мартына подле своих ног. Кот спокойно сидел подле меня, как бы вопрошая: “Чего орёшь?!” Потом кот почесал ухо и юркнул вниз. Я буквально хлынул за ним. Через полчаса я увидел Байкал. Озеро лежало в низине у посёлка, раскрытое перед небесами, распростёртое, как женщина, всё в пламени заката. Что-то важное для земли, для меня происходило между озером и небесами. И я вздрогнул от тишины и напряжённости тайги и всей природы, внимающей этому таинственному, знакомому им всем действию.

Исчезли в этот миг и шорохи, и шумы. Птица не летела, берёзы по стойке смирно тянулись вверх, во что-то настороженно вслушиваясь. Сердце моё бешено колотилось... Потому что это была жизнь. Она была дарована мне сейчас кем-то Вышним, в это мгновение, когда вершилось что-то сокровенное и незримое в природе...

Когда я вернулся в усадьбу Филипка, Мартын сидел посреди дороги, глянул на меня равнодушно и отвернулся.

— Спасибо, друг, — хрипло выпалил я ему. Кот не дрогнул.

В доме никого не было. Я поставил ведёрко с грибами на стол и поспешил на вечернюю электричку. Я хотел видеть Ирину.

Иркутск встретил меня напряжённо. Этот город, когда-то страстно любимый мною, спокойный и мудрый, как старец, с его деревянной красотой столетних особняков, заросшими тополем и рябиною слободами, тихой прелестью переулков, ныне менялся на глазах. Он становился монстром. Холодным, сверкающим мёртвыми глазницами стеклобетона, чисто американских небоскрёбов, так напоминающих по остроте и ядовитости сказочные зубы дракона. Они и множились, как зубы дракона, с пугающей молниеносностью... Чтобы полюбить новый Иркутск, наверное, нужно родиться в нём, но меня он не любил... Это точно...

Я открыл свою квартиру своим ключом. Ирина сидела на кухне. На століке дымила чашка чёрного кофе. Жена курила. Я подошёл к ней и положил руку ей на плечо. Ирина дёрнулась, худой, ушастый её лик искажился мукой отвращения. Я молча ушёл в свою комнату, закрыв за собою дверь.

Весь вечер мы молча курили каждый в своём углу. Дым из комнат струился в прихожую. И это был единственный признак нашего совместного быта.

Позже я прошёл на кухню, заглянул в холодильник. В старой каретке позеленело разбитое яйцо, рядом лежал кусок засохшего сыра. Я застыдил-ся того, что сам перекусил в кафе и не принёс домой хотя бы стряпни из той же забегаловки.

— Хочешь, я схожу в магазин?! — предложил я. Плечи её дрогнули от ненависти ко мне. Я понимал, что ей противен каждый звук моего голоса.

Жена физически страдала от моего присутствия. После похорон Ирина попала в психбольницу. Вышла из неё совершенно чужая, агрессивная, жёлтая от сигарет, кофе и, чего скрывать, спиртного. Попивать она стала давно и вначале тайно. Ролей в театре ей не давали, и периодически вставал вопрос о её увольнении по сокращению. Быт в квартире засох, как сыр в холодильнике, сразу по смерти сына. По старинным фолиантам свисала чёрная от сажи паутина, по углам валялся мусор, и от давно не стиранных постелей пахло пылью. Библиотека наша, надо сказать, сильно поредела во времена наркомании сына. Да и сейчас всё чаще прогалы в её когда-то тесных рядах...

“Если бы у нас были дети, — подумал я. — Ещё!” От меня Ирина делала аборт. Первый раз в самом счастливом периоде нашей жизни, когда нам никто не был нужен. А второй, когда я был сказочно богат, получив щедрый гонорар за книгу о путешествиях, и мы поехали в Турцию, потом в Таиланд. А там — Галапагосские острова... До детей ли было нам!

Я робко тронул жену за плечо: “Ирина! Орешек, давай поговорим”.

Плечо её нервно дрогнуло и выскользнуло из моей ладони.

Она уткнулась заострившимся носом в свой планшет и холодно спросила: “О чём? Нам не о чем с тобой говорить! Из дома я ушла... Если ты успел заметить...” — Она нервно закинула жёлтыми пальцами, уже в бусинах седины, жёсткую свою бурятскую прядь.

— Мы все ушли из этого дома, — тихо заметил я.

— И первым — Сева! Впрочем, ты забыл его давно, сразу после похорон.

— Я любил его не меньше тебя!

Жена повернула ко мне своё лютое в ненависти лицо.

— Любил, говоришь! Ты кого-то любил! Когда? В каком месте?

— Ира!

— Что Ира! Я скоро пятьдесят лет Ира! Да мы с Севой не нужны были тебе никогда! Тебе никто не нужен! Филипок?! Да, пока у тебя есть к кому сбежать, чтобы побренчать на гитаре над бутылкой водки и банкой тушёнки. Эти книги? Болтовня на всю ночь о Мандельштаме! Спас он нашего мальчика?! — Она векочила, рванулась в комнаты. — Вот это всё... Всё это... Эти философы, века, мудрость... — Она сбрасывала книги с полок и топтала их. Язык её заплетался.

Я схватил её, крепко прижимая к себе.

— Не трогай меня! Не смей прикасаться ко мне!

Тело её вибрировало. Дрожь худого, бесплотного её тельца начиналась от макушки и пронзала до пят.

— Ненавижу! Ненавижу тебя!.. Ненавижу ваше бренчанье, твой трёп... Твои учебники. Чему ты можешь научить, если ты не спас своего сына!..

Я ударил её по щекам. Она выскользнула из моих тисков, обмякла, свернувшись на полу клубочком и тихо, по-детски скривив губы, добавила: “Ведь наш Сева, он был такой доверчивый. Он ведь всему верил! Он верил, что это важно, нужно. Что это развивает... Искусство... ваше... поганое”.

— Рок не искусство, — сказал я. — Это сатанизм...

Но жена уже не слышала меня... Несколько минут она корчилась в конвульсиях, а я метался по комнатам в поисках хоть каких-то лекарств. Наконец она затихла, и я растерянно стоял над нею с флаконом валерьянки... Потом она открыла глаза, поднялась, отряхнулась и даже подошла к зеркалу...

— Я подала на развод, — спокойно и чётко сказала она, поправляя причёску. — Ты можешь не приезжать, нас и так разведут!.. На твою макулатуру я не претендую, а стены эти мне давно противны!

— А где ты будешь жить?! — спросил я.

Она подвела губной помадой свой лягушачий рот, щёлкнула замком сумочки, потом надменно улыбнулась.

— Прощай, Виктор Иванович... Титов...

И вышла из квартиры.

Я кинулся за нею. Она летела вниз нараскоряку, как чёрная птица, нечаянно попавшая в грязный мой подъезд.

— Ира-а! — крикнул я и наткнулся на соседку.

Это была Елена, одинокая, как я считал, красавица. Да, Елена для меня была эталоном женственности, нежной её сутью. Высокая, статная, телесная... Я часто, глядя в окно, любовался царственной посадкой её славянской головы, обрамлённой белокурыми волнушками зоревых волос. Ходит она равномерно, не торопясь, словно плывёт по двору... А когда она, поднимая на меня свой соколиный взор, врасстяжку говорит: “Добрый день, Виктор Иванович!” — сердце моё млеет от нездешней гармонии её грудных звуков.

Если бы не Ирина, я, конечно, женился бы на Елене, не глядя на её оголтелую ораву детей и внуков. Уютно бы устроился в шелковистых подкрыльях её лебединых рук, прожил бы мирную жизнь, ту, какую и положил Господь жить на земле...

— Добрый день, Виктор Иванович!.. — мелодично поздоровалась соседка.

— Здравствуйте! — резко каркнул я, влетел в свою квартиру, хлопнув дверью.

К вечеру я собрался на электричку.

К сентябрю лик электрички меняется. Добропорядочных старожилых дачников с их вёдрами и корзинами, ящиками с рассадой и платочками на седых приветливых головах меняют ягодники с горбовиками, шишкари, пропахшие табаком, водочным перегаром. Здоровенные мужики, весёлые балагуры, довольные, что вырвались от домашних авосек и надоевших щей с котлетами.

Да, осень уже хорошо поддурманилась, выпеклась, как добрый хлеб, кое-где уже подгорала и крошилась. В болотистых мхах багрянилась брусника, и в гладкую плоть её листа уже вкрадывалась осенняя ржавь. В тайге гоготали и кричали шишкари, пахло грибной плесенью. Всё это отдавало прочностью, устоявшимся законом и странной надеждою.

Ничего не менялось и в доме моего друга. Разве что народу становилось побольше. За печкою на лежанке уже пристроился на весь свой отпуск Миня, эдакий худой, кудлатый и прожорливый, несмотря на свою квёлость. Миню-журналиго я знаю со студенчества.

Когда-то в сильно туманной юности мы кипели в одном котле. Шумно пили, шакалили по Иркутску в поисках книг и денег. Замечу, что самым ушлым в этих поисках всегда был Миня. Он умел приспособиться к любой среде. Лохматый, как Савелий, такой худосочный, что кости его и то казались жилами, он везде говорил без умолку, ругал правительственное и жидов, и везде вызывал какую-то странную к себе жалость. Именно поэтому он не нуждался по жизни в женщинах. Имел именно таких, какие всегда нравились мне. Природных и добрых, как Елена.

Может, поэтому я ревниво не любил его в жизни. Он прилепился к Филиппу, как банный лист к заднице. Хоть и сам он ему как раз чуть повыше задницы. Миню в Култук как муху на мёд тянет. К гостям, разговорам.

Миня сотворил своей птичьей ладошкой приветственный жест на моё появление, и я вяло ответил ему. Войдя в свою боковушку, я обнаружил на старой этажерке крест и Евангелие, и понял, что приехал брат Филиппа, монах Санакарского монастыря отец Киприан. Крякнув, я полез в чулан, вытащил раскладушку и привычно разложил её в горенке у печи.

Отец Киприан появился тут же, встал в проёме двери.

— Рад приветствовать тебя, дорогой брат, — гулко произнёс он.

Батюшка Киприан постарше Филиппа на добрый десяток лет. Такой же рослый, осанистый, как брат, только без мирского жирка, а костистый, широкомастный, заросший гривою уже хорошо пробитых сединою волос и длиною с остатком рыжины бородою.

— Благослови, батюшка! — весело крикнул я и, бросив рюкзак на раскладушку, подлетел к монаху.

— Господь благословит! — отец Киприан перекрестил лодочку моих ладоней и положил свою горячую длань мне на голову.

Я люблю этого молчаливого, добродушного батюшку с его буравчиками желтоватых, огоньками блестящих глаз и всегда рад встретить его. Но не сейчас, когда жажда одиночества овладела мною. Я знал, что вслед за Киприаном припрётся учёный атеист Лев Абрамович Гринберг. Как он чует своего оппонента — уму непостижимо. И точно, через час, два часа у изгороди загудела машина, и два горбатеньких жучка, так похожих на своего папашу, вынули из багажника инвалидную коляску, затем лысого атеиста-папашу, усадили его на коляску и повезли к калитке усадьбы.

“Почему они такие волосатые все?” — весело подумал я, глядя, как Лев Абрамович размахивает жердями своих костистых рук. Сам я необратимо плешивел с годами.

— Почём опиум для народа? — весело кричал Лев Абрамович.

“Хоть бы что-то новенькое придумал”, — подумал я... и пошёл за водою.

Отдохновения не будет. Это уж ясно как день. Возвращаться в Иркутск не хотелось. К вечеру появилась Элька. Она поставила копилку на подоконник бани и начала мыть свою обитель. На столе красовалась жёлтая стопка блинов, и Лев Абрамович кричал, что в мире незыблема только наука, “смёл” первую партию единым махом. К вечеру он завёл свою говорильню.

Споры

Лев Абрамович всю свою жизнь ходит в учёных. Он академик, настоящий, не квартирный. А поскольку я чистый гуманитарий и химию от физики сроду не отличал, честно списывая на всех экзаменах решение задач по учебникам перед ликами добродушных учителей, опускавших свои строгие глаза за длинные вирши, которые я им посвящал, — потому и не разбирался, какую область науки почтил своим вниманием Лев Абрамович Гринберг. Вообще, современную науку я почитал чем-то вроде масонской ложки. Всё скрыто, почти тайно, пощупать и увидеть ничего невозможно. Но плоды науки явные — цивилизация, космос там и прочее... Масонские ложки тоже скрытные. Плоды их явные — войны, революции, мятежи...

Я подозревал, что сей господин вхож в эти тёмные заведения... Уж очень он интересен сам по себе! Я зову его про себя “Экземпляр”! Редкий, надо сказать. Глядя на него, я готов согласиться с Дарвином, что человек произошёл от приматов. Наш академик — от орангутанга. Могучий, костистый, по-еврейски чуть согбенный, с длинными мохнатыми руками. Весь веющий опасной телесной силою. На его каменном лице особенно выдаются плотные надбровные дуги, из-под которых вьедливо сверлят глубоко посаженные, настораживающие, очень подвижные глаза. Держится он с большим достоинством. Спокойный, неспешный. Говорит по делу, во всём подчёркивая, что он уверенно ориентируется в этой жизни и на этой планете, по которой он передвигается, как по собственной квартире. Его маленьким Лёвою привезли в Иркутск из осадного Ленинграда во время войны. Несомненно умный, хорошо приспособленный к земному существованию, в Сибири Гринберг закончил университет, потом учился в Штатах... В студенчестве кавээнил под визг тонкоинтеллектуальных девиц. Писал книги, картины и музыку. Занимался спортом. Был альпинистом. Лазил по Саянам, где и сорвал себе спину. Уже в коляске он написал докторскую. Был избран в Академию и каждый год ездил в странное местечко в американских Штатах под названием Биг-Сур, где когда-то обитало племя индейцев эсселен, которых почти полностью перебили европейцы. Говорил он об этом так, что было ясно, откуда берётся неиссякаемая бенная его энергия.

К отцу Киприану у Льва Абрамовича странное и особое отношение. Его тянуло к монаху невидимой, но смертной силою. Спорить с отцом Киприаном для Льва Абрамовича было, казалось, делом всей его жизни, и от этих

споров зависела и посмертная участь учёного. К разговору с монахом Гринберг готовился, как к шахматной игре, продумывая свои ответы ходами.

— Как доехали, преподобнейший? — елеино спрашивал он.

— Слава Богу, — улыбался в усы монах. — Без приключений.

Лик учёного становился твёрже. Металлические буравчики глаз под масивной дугою бровей сверкали азартом.

— Бога славите, а летели на человеческой конструкции! — Лев Абрамович не рассусоливал прелюдиями, вызывал на спор сходу. — При чём тут Бог? Здесь Королёв поработал!

— Ну, вначале работал Сикорский, — нехотя ответил отец Киприан и, вздохнув, попытался подняться.

— Куда же вы? Бежите с поля боя!

— Дело монаха молиться, а не спорить.

— В споре рождается истина! Посидите! Я соскучился, ради вас приехал, а вы бежите! Трусите?

Отец Киприан ещё раз вздохнул и присел на место.

Миша подлетел к беседующим, пометался между ними, потом выпетел во двор, закатил пенёк и прочно уселся у стола.

Филипок жарил картошку в громадной чугунной сковороде, которую нашёл на мусорке за огородом, отчистил и прокипятил. В доме пахло жареным салом, луком, печь гудела. Мартын вился у ног хозяина, и живучие осенние мухи бились по засиженному ими стеклу окна, сквозь которое лился осенний сияющий свет. Просторный и свежий, какой бывает только зрелой, уже хорошо опавшей осенью.

— А Сикорский был верующим, — помолчав, вдруг добавил отец Киприан. — У него много богословских трудов.

— Бывает, бывает, — Лев Абрамович так звонко постучал костяшками пальцев по столешнице, что я внимательно глянул на его длань — не из железа ли она? — Человек несовершенен! — внушительно заявил учёный.

— Увы, — подтвердил монах. — Всем издревле известная истина. Вы ведь гурджиевец! Он так миленько прихвятизировал её у христианства и записал на свой счёт. Совершенствуйтесь!

— Стараемся! Да вот ваш брат мешает! Братия ваша... чернорясая!

— Чем же мы вам мешаем?

— Косностью! Всё вас назад тянет! Шагу не даёте ступить!

— Чего ж вам не дали? Вся планета в стекле и бетоне! Живого места не оставили, ни одной чистой реки нет.

— Личность! Личность вы гноите. К ногтю её! Свободы личности никакой!

— Ну, и в этом вы преуспели! Хотя ваш Гурджиев тоже твердил о свободе как о преодолении себя. Через природу... Только без Бога! Маленькая деталь, — отец Киприан усмехнулся, глубоко вздохнул и внимательно глянул на собеседника. — Вам нравится провоцировать меня?!

— Я меряю рост своей личности по нашим с вами спорам. Каждая моя победа — это мой рост, — холодно признался Лев Абрамович и, словно гребнем, пальцами обеих рук зачесал свою кудлатую гриву.

— Вы подменяете истинную личность на подложную, искусственную. Не Боговдохновенную, а созданную человеком. Наносную, которой легко манипулировать. Подражательную. Имитацию личности. Вы создаёте нового человека от беса и для беса.

— Хоть бы что новенького сказали, всё о бесе талдычите. Что не по вам, то от беса.

— Что не от Бога, то от врага рода человеческого! Это истина!

— Как примитивно!

— А истина проста, как хлеб! Чем проще суть, тем ближе правда.

— Ступайте к приматам!

Миша вдруг восторженно взвизгнул, потёр руки, открыл было рот, но Лев Абрамович остановил его леденящим взглядом.

Я заметил, что учёный не очень жаловал своего соплеменника. Как-то презрительно относится он к Мине, чаще не замечая или затыкая его словом или взглядом. И никогда не обращался к нему.

“Градация у них, что ли”, — подумал я и глянул на Филипка.

Тот недовольно морщился, пытаясь прервать спор, но что-то останавливало его. Я понимал, что другу до чёртиков надоела эта политика и философия. Он хотел выпить, спокойно отобедать, вспомнить с братом родителей и родню, попеть под гитару и свалить на окраину Култука, чтобы писать последнюю осень и воду.

Наконец он поставил на стол шипящую сковородку с жаренной на сале картошкой и расставил стаканы.

Льву Абрамовичу была поставлена отдельная тарелка с вилкой. Всё-таки академик!

Лев Абрамович аккуратно взял вилочку, проследил, точно ли по отмеченной им пальцем точке налили ему водки, выпил свою порцию, ни с кем не чокаясь, и закусил картошкой. Всё это он проделал не торопясь, но быстро.

— Да, — продолжил он, подкрепясь. — Мы сотворим нового человека. Не на вашей богодухновенной глупости. Сказочек для полоумных старух, бывших комсомолок, ксати. Мы собрали великие материалы.

— Какие же?! — Отец Киприан пил только курильский чай, не притрагиваясь к спиртному и еде.

— У нас свои духовники — провидцы, шаманы, гуру, экстрасенсы всех стран с их тайнознанием и тайновидением. И ведьмы, знаете ли... Они создадут и вдохнут душу в нового человека. Как боги!

— Ну, это совсем не новизна! — Отец Киприан перекрестился. — Это религия антихриста!

— Это основы трансгуманизма! Новое человечество! Кровь био- и искусственного интеллекта. Всё новое, яркое, дерзновенное выходит от нас.

— Из местечка Эсален?!

— А вы ещё не поняли? Откуда к вам пришла современная технократия, наука, искусство, вплоть до эстрады, до мельчайших подробностей телевидения. Это мы сотворили. А теперь сотворим нового человека и отправим его по всей Вселенной! Нового, рукотворного, нашего до последнего нейтрона. Он не будет знать ни болезней, ни усталости, ни жалости. Будет беспощаден, неутомим, он будет бессмертен!

— А как же мы, Лев Абрамович, как же мы, земля? — растерянно спросил Миня. Он даже забыл выпить свою порцию.

— А это уж пусть ваш тусклый Бог решает. С вашим убогим старчеством и смирением. Сумеет ли он эту Землю спасти, которая, собственно, нас больше не интересует! Тем более идиотизм вашей России. Она давно сдохла, ваша Русь, сколько вы о ней ни талдычьте. Будущее уже наше... Биоробот создан! Он давно ходит по всей Земле!

Вид у Льва Абрамовича был высокотожественный. Он побледнел. Громадный костистый нос вылепился из квадрата его тяжелого лица.

Отец Киприан встал. Было видно, что он внутренне молится.

— Несчастные, — потом сказал он. — Прости вас, Господи! Вы не ведаете, что творите, — и вышел из-за стола.

— Ничего, ничего, — крикнул ему вслед Лев Абрамович. — Мы вот скоро вас оцифруем, и будете вы у нас, как мухи в паутине. Ни купить, ни продать без нашего соизволения ничего не сможете. Тогда посмотрим, кто из нас несчастней.

“О Господи, Господи, — подумал я. — Всё говорим, спорим, а толку-то? Господи, неужели Ты не пожалеешь создание своё?!”

На закате Элька завела ещё квашню.

Филипок уходил, потом принёс этюд с вечернею водою, и я обмелел от кроткой глубины осеннего Байкала, последних лучей, пронзивших золотистую гладь озера.

— Ты гений! — сообщил я другу.

Филипок вздохнул, сел подле печи, открыв дверцу, и, слушая горячую отповедь Льва Абрамовича, стал глядеть на огонь. Он так и просидел у печи всю ночь.

Спозаранок поднялся метать поклоны отец Киприан. Его длинная тень летала по ободранной стене, как ворон. Молитвы сухо шелестели под заливиственный храп учёного атеиста. Миня лежал на топчане, свернувшись клубочком,

подрагивал, как худой котёнок. Я вышел на крыльцо. Низкие сенцы обдали меня сладковатым морозцем и запахом осенней гари. Было ещё темно. По осени светало поздно, но горела белым огнём полнобокая, словно циркулем вычерченная луна. Под её огнём змеиной полосой высверкивала полоска Байкала, и часть леса вокруг него белела, как голова мифического старца.

Оконце в баньке светилось. Похоже, что вернулся и цыган, и пара выперла кота Мартына за дверь, отчего зверёныш отчаянно скрёбся в дверь бани и жалобно мяукал.

“Ну, блингов вволю покушаем”, — подумал я.

Савелий вышел во двор в широкополой новой шляпе и пошёл в туалет. Я хмыкнул над цыганской его шляпой, но вдруг серьёзно подумал, что, как ни смешна эта пара, но это единственное подобие семьи в усадьбе. Все, кто спал и молился за дверью дома, странное наше сообщество — бессемейное, безбытное. Может, только этим и соединённое. Мы, как пожухлая листва, гонимая ветром, поносились по никудашным своим бытиём дорогам жизни и, прибившись к ложбинке Филишка, укрывались от всех ветров времени...

С солнышком мы с Филипком подались скитаться по байкальскому побережью. Филипком паштал, как лось, неутомимо, одержимо, забыв обо мне. Он мог работать без сна и еды, самозабвенно. Я работяще шагал за его громоздкой спиной, разводил костерок, если он выбирал натуру, и кипятил чайёк, разогревая в золе тушёнку. Так мы прошатались до голых лесов, переписав и небеса, и воды, но остановиться не могли.

Однажды мы проплутали в трёх соснах вокруг Земляничного, замёрзли на ветрах и проголодались. Но с тропы мы сбились, уходя то в лес, проваливаясь во мхи, под ворохами уже созревшей листвы, то подходили к посёлку, чья печные думы, но выйти к нему не могли.

— Леший крутит нас, — добродушно заметил Филипком.

И я вдруг так заматерился, не ожидая от себя! Матом, какого и не употреблял никогда.

— Закрой рот, — засмеялся мой друг. — Попросим лучше Матерь Божию, Она нас выведет! — Он перекрестился...

И мы вышли на хуторок, увидав печной дымок, сизо уходящий в небо... Мы вышли как раз на хуторок, состоящий из трёх усадеб, и таких слитых, близких друг к другу, что казались единой. Одна же, самая высокая, млеющая новизной и стройностью, молодая красавица рядом со старушками, стояла поодаль и сразу привлекала к себе внимание ещё и тем, что ворота её были раскрыты настежь.

— Покойник, видать, в дому, — заметил я Филипку.

Друг мой скривился ликом и тяжело вздохнул. Обоим нам хотелось тепла и уюта.

— Пройдём мимо, — предложил друг. Я согласно кивнул головой, но всё же сказал:

— Интересно, кто же покойник?

— Я покойник! — услышали мы и оглянулись.

Чуть поодаль от дома на высоком валуне сидел старик. Плотный и бугристый, как валун, сливался серой одеждой с сумерками и с камнем. Мы потому не различили его.

— Это Калаш! — шепнул мне Филипком. — Значит, мы через Тиганчиху выходим.

Старик отложился от камня и пошёл к нам навстречу. Он оказался высоким, подсохшим, но без старческой немощи, с твёрдым, ещё мускулистым ликом. Голос его крепок, с властными нотками.

— Рано в покойники записался, — весело крикнул ему друг. — С тобой ещё выпить можно. За милую душу.

— Пойдём выпьем, — рявкнул старик и властно указал нам рукою на ворота.

С радостной готовностью мы двинулись за ним. Ограда, в которую мы вошли, приятно поражала ухоженностью, каким-то укладистым порядком. Поленицы были плотны и слиты, как египетские пирамиды. Вся ограда залита асфальтом. Посреди ограды отливало на солнце чернозём вычищенного

цветника. Порядок и в доме. Причём везде чувствовалось присутствие женщины.

— Он что, один живёт? — шёпотом спросил я друга.

— Как перст! — ответил мне Филипок и вздохнул.

— Что-то не верится!

И впрямь, уютные салфеточки, разложенные по дому, богатство кухонной чистой утвари, висевшей на кухне, полотенчики и скатерти по столам свидетельствовали о наличии рачительной хозяйки в доме. Вдобавок огурцы и грибочки, которые старик поставил на стол, были явно домашнего и искусного приготовления.

Бутылёк, который Калаш отёр чистым рушничком, оказался самогоном, и по нашим голодным перемёрзшим чревам он прокатился маслицем. Жизнь хорошела, что невеста. Расцветала на глазах...

— А хороший у вас дом! — выдохнул я, хрустя огурчиком.

— Покупай! — спокойно ответил старик. — Хоть сегодня продам.

— Правда-правда, — поддакнул хозяину Глебушка. — Он продаст.

— Дорого продашь? — разыгрался я.

— Дорого! Я его сам ставил. Он первый по Култуку. — Калаш положил мне на тарелку кусок сала и налил самогону. — Ему сто лет стоять... Сносу не будет!

Вторая порция горячительного показалась мне ещё краше.

— Покупай! — вдруг с несвойственной ему страстью давил на меня Филипок. — Я свои “Сумерки” продам еврею... Расплатишься.

Я глянул на порыжелое от выпивки лицо друга. Белёдые его реснички хлопали над побелевшими глазами. “Сумерки” — лучшая, как он считал, работа. И любимая. За неё ему не раз давали большие деньги... Но художник не продавал её. А тут... Значит, не шутит.

Я встал из-за стола, прошёлся по дому, заглядывая в его углы. Потом с видом знатока потрогал стены.

Калаш отвернулся с оскорблённым видом. Мол, смеет ещё проверять старого мастера! Щенок!

— А что! — с наигранной весёлостью, не веря себе, заявил я. — Беру! Не глядя!

— Смотри! — старик пригрозил мне жилистым пальцем. — Я назад слово не возьму.

Я веселился под самогоночку, поигрывал, похохатывал, но с ужасом понимал, что вопрос уже решён...

Старик вывел нас за ворота и закрыл их. Мы с другом двинулись вниз по тропке к посёлку. Чуть пройдя, увидели женщину. Поднимаясь навстречу, она не взглянула на нас, но кивнула головою в голубом платочке, плотно подвязанном у подбородка. Что-то особенное таилось в этой женщине. Может, от платочка и так и не поднятых на нас глаз, длинной юбки, которые никто в посёлке не носит из женщин. Все шмалют в штанах и куртках, и каких-то немислимых шапочках. Невкусных, как и лица под ними...

Я невольно обернулся женщине вслед.

— Это присуха Калаша, — шепнул мне Филипок.

— Чего ты её не напишешь?!

— Он мне голову свернёт! Одним махом! — вздохнул Филипок.

Я ещё раз обернулся. Женщина стояла у запёртых наглухо ворот. Стояла не шелхнувшись на фоне отцветающей осени. Она светилась странным образом. “Именно образом, — подумал я. — В этой женщине есть образ...”

— Не дай Бог тебе на такую нарваться! — заметил Филипок, внимательно глядя на меня.

— По-че-му?!

— Ведьма!

Дом Филипка был полон и гудел как улей. Ещё издали было видно, как клубится из трубы густой чёрный дым. Значит, топят углём. “Ночь будет жаркой”, — подумал я, принимаясь к запаху печёного теста.

И точно, во дворе Элька суетилась с блинами, и Савелий, открыв от напряжения второй глаз, наяривал на гармошке. Кот Мартын сидел подле его

ног, следя за дверью в дом. Время от времени он исчезал в её проеме, возвращался с ворованной колбасой, которую тут же съедал. В доме натоплено, шумно. У стола в коляске дремал Лев Абрамович. При нашем появлении он дрогнул, но глаза не открыл. Остатки недавнего застолья свидетельствовали об обильном, хорошо пропитанном спиртами пиршестве. Мартын то и дело шнырял по тарелкам и исчезал во дворе.

— А где этот, — не подымая глаз, пробормотал Лев Абрамович, — опиум для народа...

Отец Киприан вышел к нам из боковушки, как всегда, со смущённой улыбкой, и развёл руками... Вот он, мол, опиум для народа.

— Тебе не кажется, что наш академик шизик? — шёпотом спросил я друга.

— Учёные все шизики, — ответил мне Филипок. — Они там изучают пизофрению как чрезвычайно гениальное явление!

— Где там?

— Ну, где, где? В Эсалене этом...

— А ты откуда знаешь?

— Пойдём спать! Мы уже говорили об этом с тобою! Гении все разрушители...

— А Гринберг тоже гений?

— Ну-у-у... Дурак уж точно!

— Хорошо, что он тебя не слышит!

— Ты думаешь?!

Уснул я крепко и проспал бы до самых Элькиных блинов, но Филипок разбудил меня до утренней электрички.

— Вставай!.. — торжественно сообщил он. — Поедем “Сумерки” мои продавать!

Я уже забыл про вчерашнее и про старика Калаша, и наш договор, и про дом, и про всё на свете. Но друг тряханул меня, как половицу. Тут же подскочил Миня и заверещал:

— Я с вами.

Мы вышли из дому на морозном рассвете поздней осени. Лес уже оголился, белая махра инея добивала остатки травы, сквозь голую крону едва сочился сиротский северный свет. Полоска Байкала блеснула при случайном ещё солнечном луче, как стальной клинок, и погасла вместе с лучом. Я обернулся. Отец Киприан стоял на пригорке двора и крестил нас... Мартын встал посреди дороги в стойке ожидания...

Иркутск встретил нас осенней моросью, колючей, неприятной... Дыхание уже парило!..

Мы попали в другую страну. Народ в ней суетился, торопился, и никто ни на кого не смотрел. Нас никто не замечал, в отличие от Култука, где старый и малый здоровались с нами. Миня в городе, как, впрочем, и в деревне, был как рыба в воде. Он путался под ногами и трещал без умолку...

Холёный, молодящийся еврей, разбогатевший в девяностые на банкротстве заводов, ценитель искусства в картинном эквиваленте и изрядно обобравший иркутских художников... Этот спортивный и ухоженный обомлел при предложении Филипика купить у него “Сумерки”. Он гонялся за этой работой много лет и предлагал немислимые для него суммы. Но Филипок берёт свои шедевры...

Ныне же он предложил сумму вдвое больше ранее предложенного покупателя...

Марат, как звали нашего “богатенького Буратино”, от неожиданности согласился сразу.

Миня верещал, как сверчок, радостно потирал руки, в полной уверенности, что сделка состоялась только благодаря ему. Ненароком заглянув на кухню, я увидел, как Марат отстёгивает и Мине купюры из своей кошны. Видимо, наш постоялец сумел и его объегорить...

Потом я снял гонорар со своей карточки, подчистил сберкнижку. Долго раздумывал, зайти ли домой. Но решил — потом приду. С домом, сюрпризом! Как-то всё играючи совершалось. Я, честно говоря, до конца и не верил, что

стану собственником. Но всё шло на удивление быстро, гладенько, и я не успел оглянуться, как вышел из Департамента со всеми бумагами, подтверждающими, что я всё же полновластный хозяин дома Калаша.

Сам Калаш вышел из своего дома, сам закрыл ворота, прощально постучал по ним костистой дланью. Бросил мне ключи под ноги и широко, размашисто, не оглядываясь, пошёл вниз по тропке. Татьяна мелко затрусилась за ним. Она участвовала при всех шагах нашей сделки с Калашем, вилась вокруг него змейкою, прорастала сквозь него повиликою в кусте и зорко вглядывалась в подписи и цифры.

Филипок, едва уместившись в откидном креслице коридора, мирно дремал, дожидаясь меня...

Деньги оставались. Хватило ещё на попойку.

Последним из дома, который все в пьяной эйфории называли моим, и я всякий раз вздрагивал от таких речей, уходил Филипок. Перед уходом он хлопал меня по плечу и вздохнул:

— От судьбы не убежишь, старик! Теперь ты привязан всей пуповиной к дому...

Я остался один.

Дом

Первым делом убрал остатки попойки, потом нашёл тряпку с ведром, единственное что, кроме кочерги, оставила в доме рачительная Татьяна, и вымыл полы.

Потом полдня скитался по усадьбе, заглядывая в её баню, сарай и курятники. Проверил туалет, увидел в углу кучу старых календарей, посмотрел один... Они были с начала тысячелетия третьего... И пестрели записями хозяина... Я бросил календарик в общую кучу и хмыкнул... Ещё успею прочитать эти дневники... Внутренне я готовился к главному — примирительной встрече с Ириной.

Я ушёл из дому на электричку утром следующего дня. Шёл один по сырому, промёрзшему лесу, стоял один на крошечном лесном перроне вокзала в ожидании электрички, смотрел на холодную предрассветную звезду и составлял торжественную речь примирения. Цветы я купил у своего дома. Вышедшая мне навстречу соседка подняла волоокие свои очи и побледнела.

— Здравствуйте, — радостно приветствовал я её. — А Ирина бывает здесь?

Соседка поперхнулась, вдруг вошла в свою квартиру и вышла с конвертиком в руках.

— Это вам, — сказала она тихо и сострадательно глянула на меня.

— Что это?!

— Ирина умерла. — Соседка словно листья обронила. — Она покончила самоубийством. Вчера справили девять дней... Это она оставила для вас...

Я взял конверт и, ещё не поняв смысла сказанного соседкой, вошёл в квартиру, сел на стул.

“Может, мне показалось, что она так сказала”, — спасительно хлынула мне в голову мысль.

Я сел на стул, огляделся. Ирениных вещей не было. Ни одной. Даже чашки, из которой она глушила свой матёрый кофе. Я полез в шкаф за альбомами, уронил книгу японской поэзии, за которой я когда-то стоял много часов у книжного “Родника”, записывая свою очередь номером на ладони. Из книги выпала записка. Я долго не мог отлепить её от пола — руки тряслись. Крупным корявым, как её облик, почерком было написано: “Виктор! Я больше не вернусь в эту квартиру. Ключи оставлю у твоей любимой Елены. (Кстати, поменяй замки). Я приходила сюда из-за памяти Севы. Я дышала его памятью. Сына я унесла в своём сердце. Он теперь только мой и только со мной. Осенью мы разбежимся официально. Я подала заявление на развод. Делить нам нечего. Эта квартира, в которой изжит и дух Севы, мне не нужна. Надеюсь, больше не увидимся. Когда-то твоя...”

Я тупо оглядел томик японской поэзии.

“Чего ж вы, узкоглазые, не спасли нас, — подумал я, — всей своей вековой мудростью...”

Я долго сидел за столом, глядя на конверт, поданный мне Еленой. Потом вскрыл его.

Почерк Ирины был тщательный. Видимо она долго продумывала это письмо.

“Виктор, дорогой! Знаю, что мой поступок больно ударит тебя. Несмотря ни на что. Прости меня, если сможешь. Я всегда любила тебя, и другой любви (кроме Севы), я не знала в своей жизни. Ты был моим мирком, его центром... Но Сева... Я не могу жить без него! Я не могу его бросить... Я должна быть с ним рядом... Я буду с ним... Никого ни в чём не вини. Это я не хочу, чтоб тебе сообщали о моей смерти... Так прощай... Придешь к нам, когда мы с Севой будем вместе уже... Я найду его там... Найду... Прощай!.. У тебя ещё будут дети. Всё ещё твоя... Орешек”.

Я сидел тупо... Приходила с чашками, салатами и супами Елена. Я механически благодарил. Она как-то утешала, что-то говорила... Я не слышал. Но всё же странно, по-мужицки, оценивал эту дородную, статную, крупноглазую женщину... Недаром Ирина больше всего ревновала меня к соседке. У неё есть сыновья, и один — ровесник Севы...

Мальчики росли дружно... Сейчас её сын учится на геолога. Он с детства увлекался геологией, маршрутами, походами. Мой увлекался музыкой... Книгами... Елена приходила в домашнем уютном фартучке... Очень женственным. У Ирины никогда не было фартуков. Продранные в коленках брюки, майки, футболки, мои рубашки, завязанные узлом на поясе... Все это очень гармонировало с её оттопыренными ушами и большим ртом...

“Господи, о чём я думаю”, — ужаснулся я...

Вечером включил свет, прошёлся по квартире. Везде стеллажи с книгами. Книги, бумаги, рукописи мои. Старые печатные машинки. Компьютер, планшет... Колченогий стол, продранные стулья... На кухне — позеленевшие яйца в холодильнике и тот же кусок побелевшего сыра...

— Эти Гомеры, Вольтеры, Софоклы твои... Эти культуры, японцы, китайцы... Почему они не спасли нашего мальчика... Такого маленького... Маленького... Беззащитного, — кричала она тогда. В судорогах...

Я оглядел библиотеку... Томик к томику... Японцы, китайцы... древние греки. Поэзия... отдельно... Альбомы с живописью. Импрессионисты... Когда-то мы с Ириной ездили в Москву, в Третьяковку, когда туда прибывала из Лувра выставка импрессионистов. Неделю мы с ней стояли в очередях, потом бродили по залам музея, рассматривая работы, благоговейно вздыхая. Потом мы ездили по всему Иркутску, обсуждая высоту, экспрессию французских живописцев. Иногда вскользь замечали, что наши передвижники, право, убоги рядом с этим великолепием. Тогда Ирина сделала очередной аборт. Беременность бы помешала нашей жертвенной поездке...

Утром я поехал на кладбище.

Едва нашёл могилу. С последнего моего посещения могилы Севы кладбище разрослось, стало городом... “Когда-то рождались и росли города, — подумал я. — Сейчас кладбища. Наше правительство лихо исполняет заветы мирового сообщества об уничтожении народа России...” Эта мысль была нова для меня. Я не политик... и когда я увидел могилы жены и сына, я забыл о ней...

Холмик Ирины был свежий. Обложен полузамерзшими уже цветами. Розами.

Я аккуратно положил свои розы посередь обеих могил. Чёрное железо тумбочки зловеще блестело на осеннем солнце. Я наклонился к могилам... Там, под двумя бугорками чёрной, ещё полусырой земли лежала моя жизнь... Одинаково ушастая и большеротая... Когда-то они доверились мне, как щенята... И я не сберёг их. Тогда зачем я жил?! Кем я был занят? Иосифом Бродским? Я погладил свежую, перепревшую земельку холмика жены.

— Ира, Орешек мой! Ты прости меня. Я не хотел... Я ведь дом купил... Для нас. Как хорошо бы мы жили. Ира! Зачем?! За что?!

Голова моя клонилась и клонилась к земле, словно неведомая, могучая сила давила на шею и затылок... Я ещё что-то бормотал и, видимо, долго, пока не очнулся, уткнувшись лбом в могильный холмик.

— Поздно каешься, батюшка! — услышал я каркающий глас над собою.

Я поднял голову. Передо мною стояла тёща. Она сильно похудела с тех пор, как я её видел в последний раз, оттого ещё зримее оттопырились её громадные уши, которые она передала по наследству дочери и внуку.

Тёща Аида Акимовна смотрела на меня тем же презрительно-ненавидящим взглядом, каким ещё недавно глядела на меня её дочь. Аида Акимовна по-хозяйски убирала могилы, выбрасывала подгнившие цветы, перебирала свежие и костерила меня на чём свет стоит. Глядя на её сухо вибрирующее костистое тело, плохо слыша её резюме обо мне, я думал, что такой же точно стала бы Ирина, доживи она до материнских лет.

Молча встав, я вышел из оградки.

Утром я уехал в Култук. В пустой по-осеннему электричке я пытался вспомнить, как именно меня угощала тёща, но не смог вспомнить ни одного слова. Только близкое, склонённое к могиле и ко мне скуластое её лицо, обтянутое жёлтой кожей, и яростные Иринины глаза над лягушачьим большим ртом.

— Иуда! — крикнула она мне в ухо...

В доме Филипка, куда я завернул по привычке, происходил хозяйственный бум. Очередная блондинка навела шик на кухне, к большому неудовольствию Эльки Копилки, которая давно считала себя хозяйкой этой кухни. Она заглядывала в окна дома и с досадой пнула Мартына, путавшегося у неё под ногами. Савелий ушёл к Филипку, который стоял перед лесом на горе и стрелял в голое и чёрное его чрево, что всегда было знаком крайнего раздражения моего друга. Я поклонился отцу Киприану, вяло махнул Мине и, увидев прыгающую, как блоха, машинёшку Льва Абрамовича, поспешно подался к своему новому жилищу, о котором, кстати, и не сразу вспомнил.

Не заходя в дом, я обошёл его вокруг. Он показался мне солидным, прочным. Если честно, даже великолепным. Калаш слывёт хозяйственным, руковитым мужичком, и сама его усадьба оправдывала славу её творца.

Потом я открыл многочисленные и потайные замки и вошёл в дом. Он обдал меня студёной, застоявшейся сыростью. Бросив рюкзак на пол, я пошёл за дровами.

В доме стояла настороженная, новая тишина. Дом ждал. Он чутко реагировал на моё поведение, словно пытался определить, как себя вести со мною далее. Я осмотрел все окна, растопил печь. Поставил закопчённый хозяйский чайник на плиту. Я не знал, что делать! Я не знал, как и зачем жить! Камень, острый и злой, резал мою грудь...

И тут появился Филипок.

Он молча сбросил громадный рюкзак у порога.

— К вечеру снег обещали, — сказал он мне и начал разбирать рюкзак. — Надоело всё, скажу тебе... до чёртиков... У тебя укроюсь. Подбрось-ка ещё в печь...

Он разложил свой роскошный спальный мешок на полу у печи.

— Ложись на полати, — предложил я ему, показывая на крепкие полати у самой прогретой спинки печи.

— Сюда отец Киприан ляжет, — кратко сообщил Филипок, — у него поясница. Боковушка, кстати, за ним.

Я смиренно вздохнул, подумав: “Слава Богу за всё!”

— Если бы Ирка, Царство ей Небесное, родила хотя бы ещё одного... ей было бы чем жить, — выслушав меня, заметил друг.

— Она не хотела рожать, — оправдывался я. — Играла всё. То Джульетту, то королеву-мать...

— Старик... старик... в супружестве виноваты оба... Как правило.

— Если ты такой умный, то почему ты один?

— Я художник. Мне положено одиночество! Я бы вообще запретил нашему брату заводить семьи... Законом!

— А я писатель!

— Это ещё хуже! Мы хоть картинки пишем. Нынешнее население картинки ещё может разглядеть. А вас-то никто не читает! Ваше время ушло! Без-возвратно!

— Чего теперь нам? Вешаться?!

Отец Киприан пришёл в сумерках.

— Снег пошёл! — возвестил он с порога. — Мир дому сему!

— Принимаем с миром!

Вечером отец Киприан правил панихиду по Ирине.

Потом мы пили чай. Печь гудела. В доме было жарко. Плита печи раскалилась, и малиновые её отсветы светились на стене кухоньки и окне. Свет не включали.

— Благодатно как! — заметил батюшка и сошёл с лежанки, пошёл в боковушку молиться.

Вечер был долгим, осенним. Труба выла.

Батюшка после молитвы грел поясницу у припечья, а мы с Филиппком сидели у стола и долго молчали. Пили чай из алюминиевых кружек и молчали...

— Как там Лев Абрамович? — вспомнил я потом. — С кем он сейчас спорит?! С Миней?!

— С Миней он спорить не будет, — улыбнулся Филиппок. — Цыганок наш сейчас подключится. Он будет вспоминать Загиду свою.

— А Элька от ревности утащит свои блины домой.

— Миня не даст, — улыбка отца Киприана всё же отличалась от добродушия брата. Она гораздо значительнее и даже жёстче...

Я глядел на братьев. Может, из-за сегодняшней полутьмы, они разительно различались. Оба рослые, рыжие. Оба умные. Но в моём друге жила, несмотря на кажущийся ветер в голове, в сердце затаённая печаль. Это была глубинная печаль гибельного мира. Он художник!

А отец Киприан улыбался редко. Никогда не смеялся. Но в полутьме мне показалось, я видел в его душе сияние радости. Что живёт в нём истина монаха. Он монах. Духовное чадо о. Иоанна (Крестьянкина). Самого радостного батюшки на свете.

— А Миня разве верует? — пытал я о. Киприана. Разговор переходил в острую, но сокровенную глубь.

— Внешне он примет любую религию. Но внутренне только одну.

— Иудейство?!

— А ещё глубже — Золотого тельца! — ядовито съязвил Филиппок.

— Гуманизм! — добавил отец Киприан. — Добавь-ка мне ещё чайку. Какой вечер Господь нам подарил! Благодатный!.. Слава Тебе, Господи! Слава Богу за всё! — Батюшка с удовольствием потёрся о горячий припечек спиной.

Я долил ему в кружку кипятка и кинул туда щепотку чая. Достал сухарик.

— А в живописи Миня что-нибудь понимает? — не унимался я, чувствуя сладостный зуд осуждения в сердце.

— Нехорошо, — покачал головой о. Киприан, прочитав моё настроение, — осуждать за спиной плохо.

— “И крупной солью светской злости стал оживляться разговор”, — кстати напомнил Пушкина Филиппок.

— Но мы трогаем не его лично, а часть народа, коему Миня принадлежит! Народ, который несёт собою опасность для Земли...

— Ну, о чем ты? Они же все гуманисты! Да и все народы могут быть в какой-то момент опасны для Земли.

— Вот именно. Самый сильный яд для человечества. Гуманизм, либерализм... Свобода, демократия... равенство, братство — несложный языковой набор этой братии.

— Ну, это все знают, — махнул я рукою.

— Знать-то знают. Но на те же грабли и встают. Как бычки на верёвке, на бойню прут... За счастьем. Эти ребятки вползают, как правило, несчастными, гонимыми, а потом вытесняют шаг за шагом хозяев из дома.

Я тут посмотрел за досугом двадцать каналов. Перематывал их в течение дней... Ни одного русского лица... Ни одной здоровой передачи. Напрочь вытеснены культура, язык, традиция. Если честно говорить, мы живём в оккупации.

Как странно это было мне слышать от монаха!

— А художники?.. — спросил Филипок. — Я люблю Левитана.

— Разве что Левитан... Соплеменники не простили ему измены. Левитан — трагедия! Листок, оторвавшийся *от ветки родимой!* Ветка не простила ему предательства... Собственно, он умер в нищете и забвении, не принятый ни тем, ни этим народом! Он умер в безумии...

— Когда ты успеваешь всё читать? Ты же монах... — завистливо подкусил я его. — Ты ведь должен только молиться!

— Я ещё до монашества начитался. А в молитве душа прозревает...

— На западе много больших художников... — задумчиво заметил Филипок.

— Да! Очень много, — отец Киприан, кряхтя, приподнялся и сел на лежанке. — Но как они отличаются от наших, хотя бы передвижников. Гляньте на их изначально мясистых баб. Какая похоть и плотское в их обликах! Там всё призывает к сладострастию. Это в итоге живопись растения. Они даже мазок растлили. Обнажили его, как пучок цвета. Это не русская скрытость и целомудрие... от древнерусской иконы. Нет, моё чадо, “бойтесь да найцев, дары приносящих...”

Отец Киприан застенчиво улыбнулся в усы, перекрестил нас и пошёл в свою боковушку.

— Батюшка, — почти крикнул я ему вслед. — А за что Господь Россию так казнит? Вы всё говорили о любви к русскому, а ведь корневой народ уничтожен... Сами сказали... И язык, и культура! За что?!

— За то, что любил этот народ, как Сына Своего, — тихо ответил он через плечо. Потом постоял, потупясь, и обернулся: — За то, что много дал России и её народу! И земли, и души, и таланта. А кому больше дано, с того больше и спрашивается! И хватит талдычить о погибшем русском народе! Он не погибнет никогда! Потому что в нём спасение человечества. Потому что в нём Христос! И только в нём. Главное — не принять врага добровольно, как раковую клетку!

Отец Киприан размашисто, единым взмахом перекрестил нас. Лица его я не видел, только громадину его чёрного, похожего на нездешнюю птицу тела.

— Господь ведь смотрит и на степень нашего сопротивления, — тихо и внятно добавил он после креста. — Все государства и народы, которые добровольно приняли этих выходцев из пустыни, исчезли с лица земли!..

— Это какие? — заносчиво спросил я.

— Шумеры, Египет, Вавилон, хазары... Поддыхает Европа!.. Очередь за Россией! По преданию пустыня — место битвы между Господом и Сатаной. Демонами и Ангелами. Она сама смерть, и всё в ней смертно. Ангела вашим снам...

Он резко повернулся, и тень его скрылась в боковушке...

Утром я проснулся от белого света, бьющего в окна. Огород, и лес вдаль, и ограда — всё было в снегу. Он ровно и пухло на всю открытость утреннего пространства возлёг и блистал, как царь. Отец Киприан уже гудел, как чайник, у печи. Он появился в горнице с горой бутербродов в тарелке.

— Давно я так сладко не спал, — сообщил он и пошёл за чайником. — Я спал так, как не подобает монаху, — вздохнул он, разливая чай по чашкам.

После завтрака батюшка решил освятить усадьбу. Он надел на рясу положенное облачение и запел: “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!..”

Мы с Филипком ходили за ним по пятам, крестились вслед за ним. Потом, облитые святой водой, мы мяли свежий покров снега на огороде и в ограде. Замять снегов липла к ботинкам, на пряслах огорода ещё блистала изморозь, но воздух сиял и светился, насквозь пронизанный играющим, круглым, как колобок, солнцем...

Перед обедом отец Киприан вдруг спросил меня:

— Как ты думаешь, Ирину отпевали?

— Вряд ли! — глухо ответил я.

После долгого молчания и молитвы отец Киприан сказал мне:

— Было искушение... — он вздохнул. — Великое было искушение отпеть твоих... Но, видишь ли, благословение на отпевание самоубийц даёт только архиерей. Без него отпевание будет недействительно. Ты сходи-ка к своему архиерею. Потом позвонишь мне... Отною в монастыре... Заочно.

Правили панихиду. Я будто обледенел со свечой в руке...

Обедали салом, яйцами... Запивали густым ароматным чаем.

— Ну, прощай, брат, — отец Киприан обнял меня. — Увидимся ли...

— Как! Ты улетаешь? Уже!

— Самолёт в Москву рано утром... Ещё до Иркутска добраться надо... Скорби, но в меру!.. С молитвою. Крепись... Мужайся. Молись! — Он повесил голову.

Они уходили с Филипком по подтаявшему днём снегу, меся замять под ногами. Вновь поднимались ветра. Небо заволочло, как попоной. Над Байкалом туманилось до Хамар-Дабана. Там валили снега...

Отец Киприан обернулся и в который раз перекрестил меня:

— Мужайся, брат!

Филипок поднял кулак к виску:

— Но пасаран!

Я остался один.

Тёплый, впервые услышавший молитву дом как-то помягчел. Мне показалось, что настороженность его исчезла. Я ходил из угла в угол, чуя, как подкапывалось что-то комком к горлу. “Плакать буду”, — подумал я...

В эту минуту дверь широко распахнулась, и в дом ввалился Савва. Переступив порог, он развернул свою гармошку и весело крикнул:

— С новосельем, жлобина! Зажилить хотел новоселье!

— Дак гуляли же!

— Такой дом неделю положено обмывать, — Элька Копилка вылетела из-за плеча мужа и торжественно поставила на стол пакет с блинами и бутылку водки.

Веселье получилось разгульным. Я сам не ожидал такого...

“Как просто они живут”, — думал я, глядя, как пляшет под гармошку Эльвира. Простая любовь, бескорыстная и крепкая, в общем-то... А я всё усложнял... Почему-то всё философствовал... Читал умников. Просрал семью, Советы, Россию... по большому счёту... “Мы сами всё отдали им, — думал я. — Своё надо было подымать, а не китайцев древних...” Так всегда говорит Филипок: сначала своё, а потом уж китайцев с японцами...

На этой мысли я и узрел Татьяну на пороге моего дома. Она холодно оглядела застолье, потом цыгана и спокойно прошла в дом.

— Здраваться надо! Э-э! — Цыган свернул свою гармошку, на что Татьяна не обратила никакого внимания. Она сняла свой рюкзачок с плеч, поправила косынку, в которой была похожа на комсомолочку из пятидесятых прошлого века. Не обращая ни на кого внимания, опустив веки, со странной смесью комсомолочки и послушницы на лице она пошла бродить по комнатам, заглядывая в шкапчики и углы. Достала старую мясорубку, кинула её в рюкзачок. Туда же попал чугунный утюжок, на который я было уже положил глаз. Наконец, она бесцеремонно выплеснула остатки водки из алюминиевой кружки и кинула её в рюкзак. Эльвира ходила за ней по пятам...

Татьяна искала ещё что-то. Я вспомнил, что при сделке купли-продажи у меня возникло острое желание, чтобы эта маленькая странная женщина взглянула на меня. Неожиданным для себя чутьём я понял, что Татьяна ищет календари, но мстительно молчал!.. Я возделел её взгляда!

Не найдя календари, не обратив на меня ровно никакого внимания, она молча натянула на плечи рюкзак и подалась к двери.

Хриплый крик вдруг вырвался из моей груди, и тогда женщина обернулась и подняла на меня глаза. И я ужаснулся. Это был леденящий взгляд змеи!

Но в этот момент я понял Калаша. Взгляни на меня она ещё раз, я бы тоже подался бы за нею. Хоть куда!..

Через секунду Татьяна опустила долу веки, и я очнулся.

Эльвира закрыла на засов калитку за нею и вернулась в дом.

— Счаз! — заявила она. — Пряма раз-бежались мы! Отдавать последнее.

Она торжественно выложила на стол алюминиевую кружку и мясорубку.

— Отдавать всё. Ишь, до копейки повыгребла! Жлобина!

Я восхитился: и когда успела! Я ничего не заметил!

— А уютком пусть подавится! — Она налила в кружку водки и сама глотнула её. — Ничего! Я знаю, где она свои манатки прячет... В Слюдянке!..

— А ты чё, её знаешь?

— Да её вся Слюдянка знает. Ведьму эту. Сука она... Прилипла к Калашу как банный лист к заднице. Не отлипла ведь... Из-за неё и Калашиха под поезд бросилась. Порчу она на неё навела. Тоску чёрную!.. Он ведь, старый хрыч, её прямо в дом привёл. При живой жене... Ну, Калашиха не вынесла! Сиганула под поезд. А какая была женщина! Мимо меня сроду не пройдёт. А то и десяток скинет, пятидесяtku... Вот Калаш-то с нею и дома, и семья лишился.

— И дети у него есть?..

— А куда они денутся! Только не простили они его. За мать... Ни сын, ни дочка! Где-то на Кубани оба... Его ведь не любят в краю, Калаша-то. Из себя всё что-то строит. А сам за юбкой побежал...

— Смотря какая юбка, — рассудил цыган и тут же получил по губам от своей супруги, открыл свой страшнющий глаз и заиграл "Тальяночку"...

К ночи я остался один. В доме тепло, но я всё же подтопил, потому что вновь поднялись ветра, потом повалил снег, и кажется, это пришёл хозяин зимы. Он располагался основательно, в лесах и по просёлкам. Крыши домов побелели, и на их фоне хорошо видно, как клубится и стелется иссиня-чёрный, уже зимний дым. Байкал был чёрным, зиял провалом, и не было в его тьме ни единого проблеска.

— Всё же вы побывали в этом доме, — хрипло вслух сказал я и испугался своего голоса. — Ты, Ириша, и ты, Севочка... Хоть панихидой!

И я заплакал!

Слёзы сами покатались из моих глаз, и я не вытирал их. Я сидел на лежанке у печи, прислонившись спиной к древнему, материнскому её теплу, и рыдал. До судорог, до изнеможения. Я давно не плакал. Даже по смерти Севы, выдавливая из себя слёзы. Если честно признаться, то глубоко внутри я испытывал почти облегчение тогда, над развернутой могилой. Всеволод перед смертью измотал нас воровством, ложью, бесконечным предательством... А я был изнеженный интеллигент, занятый своей писаниной и собственным тщеславием...

— Прости меня, Сева, — судорожно всхлипнул я. — Любимая, прости меня!.. Простите меня.

Я плакал долго. Слёзы опустошили, но и облегчили моё состояние. Я встал. Рубаха моя была мокрой. Вся до нитки. Я снял её и расстелил по лежанке, и ушёл спать в боковушку. Но я ещё плакал, размазывая солёную жидкость по голой груди. Я плакал о себе. О своей ненужной жизни, которую я считал когда-то полезной и значительной. Я плакал о том, что не сберёг семью и не положил за неё свою ненужную жизнь. Я поднимал глаза к потолку, и мне казалось, что и дом плакал со мною. И тоже плакал о себе. Что ему вновь досталось одиночество, что рождён он одиноким хозяином, и смерть и проклятие — вот на чём зиждется его рождение...

В слезах мы оба с ним и опочили...

А утро было белым-белым. Одиноким, чистым, с глубинным сиянием свежих снегов. Я вышел на крыльцо, долго дышал, не вступая на эту девственную нетронутость снежных барханов вокруг. Потом всё же взял пихло, прочистил дорожки и пошёл в магазин покупать электроплитку и продукты.

Домой я вернулся с полным рюкзаком за спиной и двумя вёдрами в руках.

Принёс воды, залил ею новую кастрюльку и вдруг понял, что я вновь начинаю жить. И это была не радость... Робкий лучик надежды на жизнь. Супчик получился отменным. Сам не ожидал. Дождусь отца Киприана, — решил я, — как он благословит, так и поступлю...

Весь день я чистил ограду, топил печь, а к вечеру принёс из уборной календари, разложил их по годам. Это было единственное моё чтиво. Пролистав его по восьмидесятым годам прошлого века, я узнал время закатов и рассветов, лунных и солнечных затмений. Кроме того, календарные знаки пестрели размашистыми записями Калаша и о хозяйственных закупках, и о долгах. Сам, как я понял, он в долг не брал, но одалживал строго по срокам. Так в конце восьмидесяти девятого стояла запись: “Дал Антишке 1 т. до марта на лошадь. 1 марта 90-го года. Долг не вернул. Ходил к нему домой. Пригрозил судом. 2 марта долг вернул”.

В девяностых хозяйственные записи участились. Он, видимо, брал продукты в долг, в магазине, как и многие култучане. Но в середине марта посреди записей о банках тушёнки и муки вдруг крупная запись: “Танька! Дразнит!”

К вечеру пришёл Филипок.

— Завтра в город поедем, — сообщил он. — Мне тоже надо у твоих побывать...

Он бросил рюкзак в угол, заглянул в печь, подшурудил малиновый жар, отчего жерло печи затрещало и вспыхнуло, и лёг на лежанку...

— Хоть к тебе перебирайся, — добродушно вздохнул он. — Неделю мои гуляют! Прордыху нет!

— Миня? — спросил я.

— А Миня чё... Он балабол... Я его не слушаю. Элька жару даёт! Слушай, как спину-то греет. Царская, скажу тебе, лежанка. Правильно Элька баб моих гоняет. Только ключья летят.

— Не жалко их тебе?!

— Надоедают!

Я помолчал.

— Филипок, как-то не так мы живём, — тихо заметил я. — Как-то неправильно... а, Глебушко.

— Как живём, так и живём, — пробормотал, засыпая, мой друг и всхрапнул.

Я чуть посидел подле засыпающей его громадины и встал.

— Хорошо у тебя, — Филипушка открыл глаза. — Надо бы и мне дом освятить... У тебя рефлексия интеллигента, Витенька! Жизнь прожита! Ты не понял? Поздно нам её менять! И мы монашеских обетов не давали. Ох, и хорошо я прогрелся. У тебя вышить нету?

— После цыгана-то!

— А пожрать?

— Колбаса есть и сало...

— Тащи!

Я вышел в кладовку, принёс продукты. Умный Калаш подвесил самодельное глубокое корытце к потолку на цепях. От мышей и крыс. Я открывал крестьянскую смекалку Калаша в доме каждый день.

Пили густой чай с колбасою.

— Вкусно у тебя, — похвалил ещё раз Филипок. — Бог даст, выживешь! Дом поможет! Холодильник не покупай. Ничего цивилизного не покупай. Живи по-крестьянски!

— Я всё думаю про отца Киприана, — тихо начал я. — Это что, так серьезно? Про... ну, ты знаешь.

— Богоизбранных, что ль? А ты чё, боишься прямо сказать? Пойми, до чего мы дожили?! Нас двое, а мы страха ради иудейска в тайге боимся назвать их своим именем! Как при Христе!.. Всё Евангелие описывает этот страх перед иудеями...

— Да, вокруг меня... одни...

— Успокойся. Вокруг меня тоже! Дело наше такое! Ты ещё не понял этого? Нету нас... Нету! Как великого народа!

— А что делать? Драться! Мы ведь никогда не были антисемитами! Мы презирали антисемитов!

— С кем драться?! — Филипок хохотнул. — С мельницами? И их нету. Запомни, Витёк, врага любого убить физически невозможно. Есть в этом какой-то мистический закон. Побеждённый как бы входит в кровь победителя, физически побеждённый.

— А как же? Опять непротivление злу насильем?!

— Просто надо сейчас пятиться к своим истокам. Мы у самой-самой пропасти. Одно резкое движение, и летим... вдребезги. Пока нужно отползать. Каждым малым-малым делом... Потом пошагово... Искать дорогу назад... К предкам!

— К приматам?

— Ну, это смотря у кого какие приматы. У кого — Господь, у кого — обезьяны. К силе и праведности русских духовных ключей. Напьемся по глотку. Сила придёт, как у Ильи Муромца.

— Слишком всё просто у тебя.

— А истина, как говорит мой брат, она в устах младенцев, а не мудрецов. Пора своими мозгами думать. Смертью всюю прёт по Руси. Очнитесь, господа интеллигенты, либералы и демократы...

Утром, ещё в предрассветных сумерках, мы пошли с ним на электричку. Мой хуторок спал, только из трубы крайнего дома потянулся дымок и светилось окно...

— Рано встаёт бурятка, — одобрительно заметил Филипок.

— А ты откуда знаешь, что она бурятка?

— А я писал её. Я в Култукe всех знаю.

— А Калаша почему не написал? Какой бы портрет получился!

— Таньки испугался! Та ещё змея...

На кладбище мы подъехали только к обеду. Могилу чуть припекло, и снег ноздрился на солнце. Филипок положил на буторки по розе. Постояли молча. Слёз не было, только сухие судороги бежали у меня по телу. Филипок обнял меня.

— Пойдём... Выпьем...

— Я не пойду в квартиру, — хрипло сказал я. — Я её вообще продам... вместе с книгами.

— Кому нужны сейчас наши книги! Ни мы, ни книги... Витя-я! Наше место давно на помойках... Вместе с книгами. На погост и то, пожалуй, не успеем. Настроит эта сволота крематориев... Так что поехали в Култук. В электричке выпьем. Там, может, нас ещё и похоронят! В Култукe...

Электричка шла пустою. В тамбуре ошивался бичок да ехали две старушки, мирно вязали шарфы внукам. Они и сошли векоре, и мы с Филипком расположились по-барски. Водочки прихватили в привокзальном буфете. Там же купили давно запаршивевших бутербродов, выпросили два одно-разовых стаканчика. Бичок тут же присоединился к нам. У него был свой походный настоящий стакан, ещё брежневских времён. И мы загуляли, забыв обо всём.

— Старик! Я знаю, что это цинично звучит, но что ни делается, всё к лучшему. Художникам вообще нельзя жениться. Мы — служители вечности. А семья дело земное!

Я плакал, и Филипок утирал мне слёзы своим шарфом и потом сам сморкался в него. Так мы догулялись до того, что я вспомнил строки панихиды “Упокой, Господи, души усопших раб Твоих”, встал и торжественно запел: “Упокой, Господи...”. Филипок заголосил за мною, вытягиваясь по струнке. В это время бичок исчез вместе с рюкзаком Филипка, в котором находился бумажник с деньгами для кистей, которые мы так и не купили в городе...

Вместо бича в вагоне тут же появилась дорожная милиция с проводниками. У нас потребовали билеты, которые плыли сейчас на плечах наглого бича в бумажнике...

— Документы, — холодно спросил молодой щеголеватый “мент”.

— Дак, сп...ли, — Филипок добродушно поморгал ресничками.

— Кто?!

— Да, он документы не показал.

— Распиваем в общественном месте! Штраф!

— Какой штраф? Мы так, с устатку.

— Где работаете? Место жительства! — Полицай говорил глухо, отрывисто, заполняя какую-то бумагу.

— Мы художники! — торжественно объявил Филипок. Он был уже хорошо пьяненький, и жест, которым он сопровождал наше представление, был очень выразительным. — Я художник, а мой друг — писатель.

— Так-с, — не обратив никакого внимания на высоко поднятый вверх палец моего друга, полицейский обозрел наше застолье и приговорил: — Штраф платите.

— За что?! — палец моего друга подвyal.

— За распитие спиртных напитков в общественном месте. Второй раз повторяю.

— А где общество?! — тут возник я, но молодой полицай даже не взглянул на меня.

— А у вас тоже нос красный! — радостно заметил я.

Нас выкинули без всяких церемоний на глухом таёжном полустанке.

— Видали мы таких писателей, — глухо сообщил нам мент. — Нужны вы нам, как рыбе зонтик.

— Ну, не стоит так явно демонстрировать свое невежество, — добродушно укорил я его, всё ещё не веря, что нас выбросят. На своё замечание я и получил такой острый пинок под зад, что долго растирал его ладонью уже на тёмном, коротеньком, занесённом снегом перроне, где мы озирались с Филипком, как два щенка, оторванные от матери. Электричка ушла. Непроглядная темь плотно обступала перрончик.

— Ну, знаешь, — вдруг сказал Филипок, — твоя Ирина всегда приносила одни несчастья. Я уверен, что это она нам нашаманила!

— При чём тут Ирина? Нет, ни при чём тут покойница! — Я возмутился... — Ты бы мог пожалеть меня?

Филипок рывкнул:

— Пошли!

— Прямо так что ли?! Пешком?

— А у нас что, выбор есть?

— Я лягу на рельсы!

— Ложись! А я пошёл...

Мы пошли по освещённым шпалам. Пока хмель ещё гулял и грел тела, мы пели. Пели песни советской поры: “Опять по шпалам, и я по шпалам...” — и хулиганили, вспомнив песенку Пети Реутского: “А я, как курва, с котелком пятьсот километров пешком по шпалам, брат, по шпалам, брат, по шпалам”.

Но хмель вышел быстро. Подмораживало. Снег уже не валил, а бил колючей крупкой в лицо. Руки мёрзли. Мы видели только лунную тропинку дороги, шпалы, а вокруг — зги не видать.

— Мы ведь замёрзнем, Филипок?

— На всё воля Божья.

— А ты в Бога веришь?

— А как в него не верить, когда вот Он.

— Где?

— Да вот он! Везде!

И впрямь мне показалось, что Кто-то неведомый, присутствуя всё время, следит за нами. Но как-то настороженно. Бог так не смотрит.

— Это ночь, — сказал я. Потом, помолчав, робко спросил: — Глебушка, а правда... Всё, мы больше никому не нужны?!

Филипок оstanовился.

— Правда! — жёстко ответил он. — Всё, Витенька, всё... Цивилизация кроманьонцев закончилась. Она сожрала себя самую. И не всё ли равно, кто её сожрал... Евреи, монголы... Враг всегда найдётся. Главное — не сопротивлялись. Кишка слаба оказалась. Подчинились торгашеской природе врага, его

алчности, сатанизму его. Бога потеряли мы, свою природу. Как сейчас говорят — идентичность.

— Дух?

— Дух! Да, дух!

— Ну, тогда попёрли!

— А у нас есть выбор?

Как-то жарко стало от нашего разговора, и вроде сил прибавилось.

— За-пе-вай, — приказал Филипок.

— А я, как курва, с котелком...

— Пятьсот километров пешком, — подхватил Глеб, и оба мы слитно, в лад, вдвоём пропели: — По шпалам, брат, по шпалам!

— Петька, ты слышишь нас! Талантливый ты был поэт! — крикнул в небо Филипок.

— Почему был? Поэт вечен!

— Петька, ты вечен! Ты большой поэт! Теперь давай петь патриотическое! А то мы уж и песни русские забыли, что ли!

И мы пели “Катюшу”, “Соловьи”, “Эх, дороги...”. Потом читали Петра Реутского стихи, читали Ярослава Смелякова. Потом Филипок читал Тряпкина. На Пастернаке мы подошли к тоннелю и растерялись. Входить в его опасное жерло было страшно. Там у его выхода виднелся снег, и мы знали, что тоннель короткий, но всё же... Поезда летят как ошалелые, а внутри дорожек нет.

— Чего встал, — шмыганул Филипок. — Побежали!

Через первый тоннель мы пронеслись, как птицы, а вот на втором расслабились. И когда я обернулся, то увидел змеиные огни близкого тепловаза. За нами гнал товарняк. Меня как ветром подхватило. Я вылетел из тоннеля, влетел на вершину придорожного бугра и ухватился за обледенелый куст курильского чая.

Состав был длинный, гружённый лесом, ухал так, что, казалось, лопнут перепонки в ушах. Ветер сносил с места, и я понимал, что оторвусь от куста, и снесёт меня под колёса этой жуткой махины.

“Где Филипок? — стучало у меня в мозгу. — Успел он или нет?”

Я не помню, конечно, сколько я пролежал на ледяной земле, вцепившись в куст обеими руками. Очнулся я оттого, что Филипок с силой тряханул меня за плечи:

— Вставай, лежебока!

— Глебушка! — завопил я. — Филипок!

Мой друг всей своей силой отдирает мои ладони от куста. Ладони посинели и кровили.

— Ну, а разнылся-то отчего?

— От счастья! Что ты жив!

— Чё со мной делается. Там ведь карманы в тоннеле... Для обходчиков. Я в карман нырнул и простоял... Строили ведь при Советах... Как следует строили!

Я приложил свою несчастную голову к его груди и успокоился.

— То-то! Глянь вниз... Это же Култук!

Внизу яблоками светились окна домов, и кое-где редко дымили трубы.

— Пришли?

— Пришли!

Друг мой довёл меня до дому, растопил печь и лёг на лежанку у печи.

Я отрубился мгновенно.

Глянул на часы. Уже вечерело. Филипка не было. На столе стояла стопка блинов... Значит, были Элька с Саввою... А я ничего не слышал...

Я лёг на лежанку, прислонился спиной к горячим кирпичам печи и утонул в блаженстве. “Господи, — мысленно обратился я к Всевышнему, — благодарю Тебя за всё! Какое счастье иметь дом и печь!”

Ночью я читал дневники-календари Калаша. Роман их давно начался. Уже в марте Калаш коряво нацарапал: “Всё было!.. Больше не пойду...”.

В апреле: “Всё опостытело... Тянет... Колбаса 1,5. Тушенка 2 б...”

В мае: “Жил у неё. Ведьма она! Змея!”

Я вспомнил холодный, немигающий взгляд Татьяны.

Осенью Калаш записал: “Видел дочку... Не поздоровалась... Уйду от Таньки... Семья у меня”.

В конце октября трясущаяся во весь лист запись: “Вера бросилась под поезд...”.

Через неделю запись... “Похороны. Дети не разговаривают со мною”.

Через месяц он написал: “Ушла из дома дочь”.

К осени: “Сын поджигал дом... Едва успели потушить... Сын уехал”.

В марте он записал: “Видел Таньку... Дразнит. Змея”.

Я отложил календарь в сторону и вышел во двор. Култукская глухая ночь едва мельтешила мелким крошевом зимних звёзд, и я подумал, что так давно не видел ясного звёздного неба, которое я видел когда-то в степи, где мы работали в студенчестве на практике. А оно там потрясающее. В Култуке неба нет. Здесь тайга, сопки, распадки, ручьи... Небо лоскутами...

Единственный на моём хуторке фонарь освещал часть дороги и стену соседского дома, и освещённое внутренним светом окно старой бурятки, которая либо уже поднялась, либо ещё не ложилась...

Я совсем потерял чувство времени!

“Боже мой, — подумал я, — зачем я жил?! Для чего! Для кого писал ночами? Кому был нужен! Кому всё это сейчас нужно: моя библиотека, писанина, работа, газета?.. Мои учебники! Ира, девочка моя! Как ты права! Ты всегда была права! Никому уже этого не нужно. Ничего!.. Грядёт другое человечество! Цифровое, биороботы. Оно не читает, оно считает. Оно сметает нас с лица земли, как мусор, со всей тысячелетней культурой, библиотеками и музеями... И мы заслужили это... Господи! Прости нас! Мы ничего не сберегли! И так мало ценили дары Твои...”

Перед моим внутренним взором в который раз предстали они двое — ушастые, большеротые, бесконечно далёкие и до жути мои... “Ириша! Сева! Я ничего не сберёг, — в очередной раз хлестанул я себя. — Ни сына, ни жены, ни России”. Разве я сам не стремился к комфорту своей души! Разве я думал о ближних? И тем более о России...

Утром я ушёл к Филипку. Дом без меня опустел, и я с удовольствием заметил это. В боковушке валялся Миня.

— А он к тебе ушёл, — сообщил Миня. — Я говорю, вы друг без друга не можете!

Посидев минутку, я сказал:

— Тогда я пойду домой.

— Я с тобой! — заявил Миня.

“Тебя мне только и не хватало”, — подумал я и кисленько улыбнулся.

Миня путался у меня под ногами всю дорогу, как он делал всегда, и без умолку говорил:

— Дружок наш Филипок... твой. Он совсем чокнулся. Я обожаю Чехова! Вся интеллигенция обожает Чехова, — тараторил он без передыху. — Чехов наше всё!

— А Пушкин? — язвительно спросил я.

— И Пушкин! Да, да, Пушкин и Чехов! А твой дружок заявил, что вся дворянская и прочая литература только отодвинула суть народа от самого народа.

— Так и сказал?! — холодно спросил я.

— Да, да, да! Ты представляешь!

Я хорошо представлял, о чём говорит мой друг. Мы много спорили об этом с Филипушкой зимними сквозными култукскими вечерами. Иной раз в яростном противостоянии мне он вообще отрицал культуру и её значение. В его пламенных речах и тембрах голоса явно слышались нотки его брата-монаха.

В каких-то местах и я соглашался с ним. Но чем чаще соглашался внешне, тем сильнее креп мой внутренний протест.

— А чем держался народ, когда церквей не стало? Кто его спасал в шестидесятых, которые ты так ненавидишь?! — однажды выпалил я другу. — Культурой! Разве поэзия не молитва?!

— Смотря какая! — холодно ответила мне громадина друга. — Она может быть и молитвой, а может быть поддувалом для страсти!

В спорах Филипок становился холоднее и твёрже, а я распался до крика... Конечно, не явился в наше сжившееся болотце отец Кириан, мы так бы друженько и мирно поживали, ощущая себя жрецами великой культуры. И Миня величаво бы пел нам гимны о Чехове.

“Всё-таки как просто живёт народ, — подумал я, глядя на открытый, как яйцо, рот Мини. — Хлеб, земля, дети... Родина... И больше ничего не надо!”

Кстати, и почему я так не люблю Миню?

В ограде моего дома на увесистом пне, служившем Калашу, как я понимаю, для рубки хвороста и мяса, сидела соседка-бурятка и курила трубку.

— Чё топор-то у тебя на виду торчит? — сходу упрекнула она меня. — И пошёл. Попёрся! Никого не видит... Хозяин — рот раззявил! Заходите, хапайте!

— Кто сюда придёт? Кроме медведя, — пошутил я.

— Люди-то злей медведя.

— А ты чего не заходишь? — удивляясь тому, что я называю полужнакомую старуху на “ты”, пригласил я её.

— Чего без хозяина ходить?! Шишок сердиться будет!

— Заходи, заходи! Милости просим! Угощать только нечем.

— Чё же. Своим покропим! Углы покропить, однако, надо.

Бурятка неспешно вошла в дом, где дремал на лежанке Филипок, и села на пенёк у порога.

— Ну, ты чего, как неродная, — пошутил я. — Чай, не сирота.

Бурятка глянула на меня, как бритвой резанула. Лик её приобрёл непристужное величие. Филипок тут открыл глаза и встал перед гостьей.

— Проходи, Анна Ивановна... Позволишь тебя называть, как встарь — Аннушка.

Филипок галантно подал моей соседке руку. Старуха встала с неожиданной лёгкостью, вложив в рыжую длань художника сухонькую, как пергамент, коричневую руку. Потом она вынула из кармана тёплой куртки бутылку водки и торжественно поставила её на стол.

“Сопьюсь”, — мрачно подумал я.

На действие соседки окропить углы водкой и пошаманить я попытался противиться, но Филипок остановил меня. Мол, бесполезно, во-первых. Во-вторых, купи соседку, не то оскорбится так, что и погоришь ненароком.

Миня ходил за старухой по пятам, пытаясь разобрать её бормотание, но так ничего и не понял. Сел у лежанки.

— Дом крепкий, — сообщила мне Аннушка, садясь за стол, — наливай, обмоем. Добрый дом! Внукам ещё хватит на жись... Тока дух в ём не сладкий... Калаш, он гордец... Сам строил. Всё выпендривался из себя... Жену погубил, детей разогнал... А эта змея... Танька его и охомутила. Она заставила дом продать. Чтоб он к ней переселился... Продыху ему не давала...

— А нам лучше! — сказал Филипок. — Выпьём за её здоровье. А то бы мы здесь не хозяйничали.

— Я за волка выпью, а за её нет!

— Ну давай за тебя, Аннушка!

С вечера завывли ветра. Они гнали по небу за Байкал пузатые, тяжёлые, как танки, иссиня-чёрные тучи. Снег повалил уже потемну, в густых ранних сумерках.

— О, Мартын пришёл! — сообщил Миня, глядя в окно.

— Значит, сладкая парочка уже на подходе, — вздохнул я, понимая, что одинокие слёзы, к которым я уже привык в этом доме, сегодня мне не светят...

Элька немедля выгрузила на стол кастрюльку с блинами, цыган развернул гармошку, открыл свой страшнющий глаз, и застолье загудело по новой...

Старая бурятка дремала у двери на пенёке и временами вздыхала.

— О чём вздыхаешь, бабулька? — Миня пристроился к ней на пенёк.

— Дак, гуляют!

— Пусть гуляют! Плохо, что ль?!

— Да, одни все... обрубочки... Бабы-то где? Девки?! Одни гуляют! Обрубки...

— Мы вечно холостые... И женатые были холостыми!.. — подтвердил Филипок. — Хоть с десятком детей! Мы и в семьях одинокие... родились такими.

— Э-э. Время такое! — проскрипела бурятка. — Мужик бабе не нужен. Баба не нужна ему... Шайтан кружит... Деток не любит... Да...

— И то правда, — задумчиво подтвердил Филипок. — Между мужчиной и женщиной исчезает связь — тяга друг к другу!..

— Точно дьявол работает!

— Бабы нету, и дома нету, — сказала Аннущка.

— А я на что! — приплясывая, вызвалась Элька. — Мы с Саввущкой семья! Ой, ты мой сладенький... Я тебя никому не отдам, — она потёрлась носом о нос своего цыгана. — О ти какой... Мо-о-ой!

— Надо возвращаться к старым законам, — негромко сказал Филипок.

— Да ты хоть к бабе-яге возвращайся! — ядовито ответил я. — А нас не изменишь. Мы родились такими!

— Бабы нас испортили! — рассудил цыган. Он уже намыливался из баньки искать свою Загиду.

— Во, видал! — Элька поднесла немедя свой увесистый кулак полюбовнику под нос, словно чую его намерения.

— Назад! К приматам! — завопил Миня, передёргивая меня. — Всё, к чёрту цивилизацию! Будем лаптем щи хлебать!

Филипок был явно не в духе. Его кто-то раздражал. Явно Миня, который хорошо поддал, юлою крутился вокруг себя и припевал:

— На Соловки... На Соловки... Всех на Соловки, к приматам...

Я подошёл к нему и надел ему на голову пустое ведро, прихлопнул его сверху. Миня остановился, замолчал. Потом снял ведро и сел на пенёк подле двери.

— Ну, ты даёшь! — хмыкнул Филипок. — Он всё же гость... А где Анюта?

Старуха-бурятка тихо исчезла, видимо, утомлённая бесплодной нашей болтовнёю.

Вечером я вымыл полы и стал читать календари Калаша.

Весь последующий год он избегал своей полюбовницы.

За этот год я узнал дни новолуний, время закатов и рассветов. Все особенности знаков зодиака. Сколько стоили две банки тушёнки, которые Калаш брал в долг, и наконец, в какие дни он встречал Татьяну в магазинах и на дорогах посёлка.

В начале сентября он записал: “Видал. Не поздоровался”. В середине опять: “Видал. Взял в долг две банки 4 т. 500 руб.”

В конце сентября запись: “2 банки сайры 1 370 р. Пришла... Выгнал”.

В октябре: “Заболел... Пришла... Ночевала...”

Потом опять: “Ночевала”.

Зимой любовников мир не брал. Записи “Выгнал! Поссорились. Требуется продать дом” так и пестрели в конце календаря. Новый год они встречали вместе, но к вечеру она ушла.

На листке нового календаря он записал: “Ушла... Наверно насовсем”.

С Анютою мы подружились. Она бывала у меня всякий день, курила трубку на пеньке у двери и молчала. Если я уезжал в Иркутск, то оставлял ей ключ от дома в её почтовом ящике или забрасывал его прямо ей во двор. А когда возвращался, то находил свой дом протопленным, а на столе её печиво. Кроме того, она принесла мне в дом кухонную свою утварь, старую, удобную, очень мне нужную. Я, в свою очередь, привозил ей из города всякие супермаркетовские сладости, колбасы, которых, впрочем, и в култувских магазинах было полно. Но Анютка была довольна. Приходя ко мне, она зачастую ворчала на неполадки в доме или дремала на пеньке. И сколько я ни предлагал ей топчан, она и не присела на него.

Часто, продремавшись, она закуривала трубку и рассказывала что-то из своей жизни, то, что придремалось ей, словно в тумане, о том, другом Култуке, где грудилась юрты тунгусов и стояло несколько русских дворов, и где она бегала девочкой и знала каждый куст в округе, и ходила в кедров, как в свою горницу, и ходила на медведя, и стреляла в кабанов. Там, в том, другом, досоветском Култуке её выдали за детного вдовца... Красивого и синеглазого. И она любила его и нарожала ему деток. Но он не любил ни её, ни детей. И исчез однажды в глухой тайге, выветрившийся, как туман, из её жизни. Она подняла всех детей, которые остались после него в доме... Русские дети её почитали. А буряты ушли как бы вслед за отцом...

— Я напишу о ней повесть, — подумал я, глядя на выщербленное лицо бурятки. — Филипок писал её портрет, а я напишу повесть...

Филипок остался один. Лютые зимние ветра выветрили всех из его дома. Цыган скитался по неведомым весям Сибири, а его весёлая подружка собирала по вокзалам и рынкам копейку для своего непутёвого сына.

Мартын сутками стоял посередь дороги. И только ушлый поляк Казимир, подначиваемый своей почерневшей от корысти Сарою, кружил вокруг усадьбы моего друга, всё ещё пытаясь убедить его продать усадьбу ему. Какой бы скотный двор они устроили с Сарою!

Филипок усмехался и молчал. Зимой писал он мало. Ветра в Култуке выметали снега, и серая обыденность зимнего посёлка не внушала ему желания браться за кисти. Пить и то перестали.

— Так и бросим с тобою пить, — ухмылялся художник. — Скучно жить-то будет!

— Чего скучно! У тебя вон баб табуны. Давно ли тут знойная брюнетка хозяйничала!

— Старик! Баба, как Бог или мать, должна быть одна! А табуны не бабы. Если их много, значит, у тебя нет бабы в жизни... — Он помолчал и вдруг признался: — Я свою ненаглядную давно предал... А табуны — как ветер... Тошнота от них... И никто мне не родил. Вот где язва-то! Мы ведь вымираем... Витёк, нету нас! Где мы?! Ау! Русский народ, где ты? А зачем тогда земля?! Зачем мы творили! Полянки писали, стихи... Ведь русские полянки только русский глаз прочтёт... То, что в них Господь записал!

— Сдаёшь, Глебушка! Плохо на тебя Култук влияет! Особенно зимою. Может, действительно, продать усадьбу ляху.

— Чтобы он тут скотняк устроил. Хорошо придумал!

— Ну, ты здесь... в депрессии!

— И куда мне теперь, депрессивному, деться?

— Ко мне!

— К тебе! Повешаться! Ты сам такой же, как я. Нет уж. Я от своего угла не откажусь! Ни от дома... Ни от России... Полянки моей. Напродавался за жись...

— Грустный у нас конец, Филипок...

— Какой заработали! Мудрить надо было меньше! Правильно делает молодняк нынче... что книг не читает... Какой-нибудь Ванька Жуков Пушкина наизусть не шпарил, как ты... С Гумилёвым не пиарился. А и Родине послужил, и землёю пахал, и семью сохранил. Пьёт по праздникам, и бегут за ним внуки... “Деда!” — кричат. А у нас! Мы всё любим Родину! А они сами — родина!

— А у нас полянки. Кому что, старик! Не плачь! Слава Богу за всё...

Всю зиму я мотался между Култуком и Иркутском. Шакалил по редакциям, совал свои материалы... Гонорары всё ещё были, но реже и жиденько... Вольные хлеба давно не кормят, а пенсия отодвинулась...

Кормился Анютиной картошкой и тем, что подадут гости. Наши с Филипушкой.

В свою квартиру я не входил... Боялся. А на кладбище ездил. Чистил могилу от снега. Сидел в оградке, беседа с родными. Это единственное, чему научился я в жизни. Наконец-то! Беседовать с тобою, Ира! Севу я не понял. Этот молчаливый ушастик, взиравший на меня тёмными, глубокими глазами, так и ушёл не распознанным с земли... его понимала только мать...

Любил ли он меня? Тянулся ли ко мне?.. Наверное... Я этого не замечал... Однажды в беседе с покойницей мне почудился её голос. “Ложись с нами, — простонала она. — Легче нам будет...”

Я оглянулся. Кладбище было пустым и белым. Кресты, засыпанные снегами, как грибы, торчали в оградках, и дорожки накаганно блестели под солнцем. Там, за погостом, начинался лес, и мне почудилось, что покойница выходит из глубокого и тёмного его чрева. Я бросил лопатку и рванул из оградки. Бежал по дорожке, поскользнулся, падал, вставал и летел до ворот кладбища, у которых уже стоял автобус. Хорошо хоть куртку успел схватить.

Филипок, которому я решил рассказать видение своё, долго молчал, потом вздохнул:

— Ты ведь не отпел их... Батюшка уже раза два спрашивал меня, ездил ли ты к архиерею за разрешением...

— Поеду... Вот управлюсь. Напишу очерк и поеду.

Я написал очерк, вынул из глотки редактора приличный гонорар, всю глухую зиму просидел в доме Култукана на лежанке, под дымок трубки старой бурятки. Всю зиму мели свирепые култуканские ветра, и я топил печь круглые сутки. Я перечитал все календари Калаша, вплоть до того камня, на котором мы с Филипком его и встретили. И понял необратимость его тяги к Татьяне. Часть его тоски ещё оставалась, витала в моём доме. Она витала одиночеством и пустотой углов, безмолвием дома и той замкнутой теснотой, которая бывает долгой, просверленной ветрами зимою. Култукан вообще одинок. В редких заброшенных поганым нашим правительством (я об этом много писал) деревнях одиночество вездесуще и зримо. Но мне казалось, что в Култукане, в моей глухоте дремучей, оно чувствовалось особенно...

Старуха подкармливала меня. Она приносила мне картошки и мороженого омуля, которого мы ели расколоткой. Потом пили крепкий бурятский чай с молоком и маслом. Потом она дремала у порога на пенёчке, а я уходил к Филипку или шёл собирать хворост и сухостой для печи. Каждое утро я долбил прорубь на вздувшемся зеленоватом ручье, черпал ковшом алмазной воды и нес её, как драгоценность, до дому. Дом обучал меня житию человеческому... На земле, а не в воздухе... В квартире... Я уже испытывал удовольствие от череды труда по уходу за домом и собою, отдыха и перекусов с обедами, незатейливыми и короткими, как световые дни. Я ещё томился одиночеством, особенно в глухие зимние ночи, когда в трубе печи гудел ветер, и редкая, одинокая звезда заглядывала в пузатенькое оконце моей кухоньки. Однажды в этом гуле мне вновь послышался глас Ирины. “Приходи к нам”, — так явственно и певуче позвала она в самый гулкий порыв ветра.

В это утро сыпал снег. Уже несло весенней сыростью. Оттепели ещё не было, но всё бурнее шумели воды в ручье, и всё ноздреватее становилась ледь. Она хрустела и крошилась под ногами, когда я подступал к воде.

Я набрал ковш воды напиться самому, глянул на лес и увидел Ирину, выходящую из леса.

— Всё, — хрипло и громко сказал я и перекрестился. Видение исчезло. — Шизую!

Филипок при моём рассказе смахнул слезу со щеки и всхлипнул:

— Езжай к архиерею. А то и сам пропадёшь...

Я потянул до конца марта. Перестал спать. И поехал.

К архиерею я попал не сразу. Сказали, где-то ездят по северам. Узнал, что он недавно посвящён в митрополиты, а до этого служил на Севере. Но сам он из Иркутска.

— Денька через два подходите, должен подлететь, — пообещал мне секретарь, не оторвавшись от компьютера.

И я подивился худобе и молодости этого прозрачного, как мне подумалось, монаха. Деваться было некуда. Я вернулся в свою квартиру.

Соседка Елена, всё такая же волоокая и степенная, подала мне ключ и глянула на меня с жалостью:

— Может, помочь чем, — предложила она своим грудным певучим голосом. — Я могу прибрать у вас... Пыльно там...

— Я сам! — резко сказал я и быстро ушёл.

В квартире было действительно пыльно и душно. Я набрал в ведро горячей воды, сыскал тряпки и стал протирать книги... Они стояли в двух комнатах сплошной стеной, с пола до потолка. Работа шла медленно. Самые ценные стояли наверху. Фолианты мудрецов Востока. Японцы, китайцы... Иностранная литература... Всемирка, за которой я рыскал, как шакал, по России два года... Классика внизу. Воду менял через каждый десяток томов. И всё вспоминал, вспоминал... По каждому тому... Как доставали... Как читали по одному и велух, лёжа, как правило, в постели! С последующим сексом...

Устал я невероятно... К вечеру пришла Елена. Принесла ужин. Очень кстати.

Ел я жадно. Сказал — вкусно... Ужас как вкусно!

Елена заглянула в комнату Севы:

— Вы здесь не убирайте... Я завтра сама приду... Помогу...

Я был очень ей благодарен.

Возвращение

Через пару дней архиерей действительно принял меня. У него было молявое, почти румяное лицо, не сочетавшееся с седым великолепием бороды, и бархатистый, неспешный говорок. В общем, в нём поражала меня строгая приветливость и некоторая вальяжность. Впрочем, в епархии и в церкви всё поражало меня. И светлоокая девочка, белая, как ленок, с косою. Что-то нездешнее было в ней. Она прошла мимо меня, как светлое облако, и скрылась через массивные двери приёмной. “В ней живёт образ, — подумал я. — Да-да, забытый русский образ...”

Архиерей долго и вдумчиво расспрашивал меня о деталях гибели семьи. И я, удивляясь себе, подробно и торопясь, словно боясь что-то упустить, не выговорить, рассказывал ему.

Он ещё посидел молча над моим прошением, потом поставил крест наверху и подписал его.

— Вам нужно исповедоваться, — сказал он мне, двумя пальцами придвинул мне прошение.

— А разве я не исповедался сейчас перед Вами? — удивился я.

— Исповедь — это другое, — суховато сказал он и позвонил в колокол.

На другой день я вошёл в церковь монастыря, когда едва светало, и сёстры неслышно шелестели вокруг, зажигая лампы и свечи. “Рано припёрся”, — подумал и сел на лавку к двери. Мне сразу захотелось спать, и я прикрыл утомлённые бессонной ночью глаза. Но скоро всё зашевелилось, заговорило, вошли батюшки, и началась служба, половину которой я провёл в полудрёме.

Наконец ко мне подошла монахиня и спросила:

— Вы на отпевание? Пройдёте.

Мне вручили свечу. На каноне песочком выложили два креста. Батюшка — суховатый, с правильным овалом головы, чуть схожий с ликом Николая. Я стоял один за его спиной, и грубоватый его басок вольно разносился по пустому храму. “Упокой, Господи, души усопших раб Твоих”, — пел батюшка. “Упокой, Господи”, — вторил ему хор. И я, стоявший истуканом до того, услышав родные имена, вновь был так потрясён, что заплакал. Батюшка читал молитвы, кадил вокруг канона, а меня потряхивало и трясло, словно что-то неведомое и чуждое выходило из меня. “Боже мой, упокой, прости, помилуй”, — молился я. Не они виноваты, я не сохранил! Мне любви не хватило. Я виноват... Ира, прости меня. Не ходи ко мне. Я сам приду... И тут батюшка пропел: “И будет тебе место упокоения!”

“Господи, дай им место упокоения”, — горячо возмолился я и зарыдал.

После отпевания меня отвели и посадили на лавочку. Кто-то подал мне святой воды. Я долго сидел, чувствуя лёгкость и пустоту внутри себя. Потом подошёл к свечной лавке.

— Я должен заплатить за отпевание, — сказал я.

— Батюшка не благословил брать у вас деньги, — тихо сказала монашка. Уже во дворе она догнала меня и протянула мне иконку в полиэтиленовом пакетице.

— Вот вам, — сказала она, — матушка Матронушка! Она поможет!..

Я уходил по промёрзшей, чёрной весенней дороге и чувствовал, что монахиня стоит и крестит меня.

В моей квартире было уже всё вымыто. На столе, прикрытые салфетками, стояли кастрюльки с обедом. “Есть ещё женщины на Руси, — подумал я. — Не перевелися!”

Вечером я уехал в Култук...

Филипок был у меня на огороде, писал весенний лес...

— Розовый, — восхищённо сказал я, подходя к мольберту.

— Сиреневый, — укоризненно поправил он меня. — Тупеешь, старик! Цвета перестал различать!

— Я отпел своих! — сообщил я.

— А я так и подумал, что ты там. Сегодня брату позвоню.

Теперь Филипок шастал по Култуку один. Его клоунский зонт появлялся в разных концах посёлка.

На дворе стоял апрель, и вода на холстах моего друга была тёмной и бурной.

В Култукке готовились к Пасхе.

В магазинах появились украшенные разноцветные куличи. Женщины мыли окна. Мужики подметали дворы.

Я купил кулич и поставил его на стол, приложив к нему иконку Матронушки. Аннушка принесла пучок вербочки, и от угла, где стоял стол, мне показалось, шёл особенный свет. Во всяком случае, дом преобразился. Почему мы с Ириной никогда не ставили на стол куличи на Пасху?! Может быть, и с Севой не случилось бы того, что случилось!

В пасхальную ночь пришли Филипок с Миней. Принесли кулич и яйца. Миня суетился, прыгал, как заяц, но я был рад видеть его и испытал истинное счастье оттого, что и у меня в доме праздник.

Потом пришла Аннушка, села дремать на пенёк у порога.

— Какая ночь! — воскликнул я. — Особенная!

В нашем хуторочке было темно и глухо, но клочок неба на редкость был звёздным, ясным и говорящим. С востока летел верховик. Он набирал силу с каждой минутой, словно тёмная взлетевшая птица. Но его громада шумела весною, молодыми волнующими запахами.

— Слышите? — насторожился Филипок.

— Не-ет, — неуверенно возразил я. — Неужели!

— Да-да! Это колокола... Христос Воскресе, мужики!

— Воистину Воскресе! — закричал я, не в силах справиться с той радостью, которая переполняла меня.

“Как много я потерял, — думал я, подымая кружку. — Чего там... Жизнь потерял!”

Миня озянул сразу, стал крикливым и агрессивным.

— Вот ты нас не любишь! — вызывающе наскакивал он на меня. — А мы миру четыре религии дали.

— Это какие же?!

— Иудаизм раз, мусульманство два, католичество три и, наконец... Христос Воскресе!

— Вы его распяли. И кровь его на детях ваших. — Я не отступал, напирая грудью на гостя.

— А вы где?! Нету вас! Нету! Что есть у вас своего! Где ваша культура?! Нету и не было никогда!

— Боже мой, да что же это такое! — Филипок стукнул своим громадным кулаком о столешницу. — Вы даже праздновать не умеете! Радость-то где?! Старики!

— Вай-вай-вай, — качала головою старая бурятка. — Христос всех любил... Ай-йй-йй...

— Правда должна звучать всегда! — с вызовом декларировал я. — А в эту ночь особенно! Потому что ложью мы продаём Христа...

— Христос Воскресе! — взвыл Филипок. Выпил полную свою кружку, закусил куличом. — Слышишь, ты, прародитель всех религий? Он Воскрес! Навеки! До конца времён! Да будут прокляты умники! Фарисеи и интеллигенция!

— А ты кто?! — холодно спросил я.

— Ай-яй-яй, — Аннушка поднялась, воткнула в жёлтый рот трубку и ушла...

На Радунцу я поехал в Иркутск, навестить своих покойников. Кладбище пестрело и радовалось, как живое дитя, и мне так легко было класть на родные могилы крашенные яйца и цветы. Я даже запел... Потом, испугавшись, оглянулся. Вдруг тёща застанет меня. Она не поймёт моей радости... Год назад и я бы не понял своего облегчения!

Ночью я собрал сумку. В неё я положил портреты Севы, Ириши и своей матери. Томики Тютчева и Пушкина! Подумав, решил, что пора перечитать Достоевского... Не всё же читать Калаша!

Утро выдалось холодное. Весна капризничала, били заморозки, трава мерцала от морозной паутины. Город спал, но я решил пересечь соседний двор, чтобы сократить путь к автобусной остановке. Я шёл споро, но у мусорки встал как вкопанный. Железный контейнер для мусора был доверху завален книгами. Они кучами лежали на бетонированной площадке для отходов. Выброшена большая библиотека прошлого века.

Подле меня остановился прохожий.

— Это из нашего подъезда. Умер старик Авдеев... Он всю жизнь собирал эту библиотеку, — с поминальной грустью пояснил он. — Профессором был. Сам книжки писал.

— Пропадут! — печально предрёк я. — К вечеру задождит, и всё! Вы бы забрали книги себе.

— У меня своего хламу хватает, — махнул рукою тот, и я глянул на него внимательно.

Передо мной стоял мужчина, лысенький, утлый, и в его стёртом лице мне показались отблески металла. “Как робот”, — подумал я.

Потом он, быстро пружиня на коротких кривоватых ногах, рванул вперёд и скрылся между шлакоблочными пятиэтажками.

“Нет, — подумал я. — Вряд ли у роботов могут быть кривые ноги!”

Я снял кешку и склонил голову перед выброшенной на гибель человеческой мудростью. Потом выбрал сверху книги Распутина и Булгакова, самых знаковых писателей прошлого века, и сунул их в сумку. Подумал и взял ещё томик японской поэзии... Все библиотеки нашего времени были одинаковы! Моя такая же...

В электричке я встретил Миню. Он приветственно помахал мне рукою.

— Падай! — крикнул он, показывая рядом место в своём купе.

В вагоне он сидел один, и сидеть в разных углах вагона я посчитал неприличным.

— А мы знакомы?! — всё же попытался поставить его на место я.

— Познакомимся! — Он привстал и подал мне руку. — Миней Пушкин. Фотограф! В прошлом. Ныне — вольный художник. Кстати, я из старообрядцев!

“Все вы из старообрядцев”, — подумал я.

Всю дорогу Миня наизусть шпарил мне японцев, увидев томик в кармане моей куртки...

— Как мощно ты ориентируешься в пространстве, — с завистью заметил я. — Я двух строк не запомнил... А вроде много читал японцев.

— Мы умеем вовремя принять форму сосуда — так мне говорил мой отец, — вдруг сказал Миня. — Главное — вовремя!

— Гениально! — холодно ответил я и отвернулся от него.

— Мы приплывим к тебе... Вечерочком! — пообещал Миня. — Ты там закусочки приготовь!

Култук встретил нас шумом тракторов. В посёлке пахали огороды. Шёлковый тёплый ветер ласкал лицо. Пахло черёмухой, и солнце сияло на молодой, нежно стелющейся траве...

В моём доме хозяйничала бурятка. Она варила мне свой жирный бурятский чай.

— А как ты узнала, что я сегодня буду?!

— Да, сколь можно! Шишок обидится. Уйдёт.

— Господи! — воскликнул я. — Култук — это счастье! Дом — это счастье! Анюта, ты — сплошное счастье!

Старуха не обратила никакого внимания на мои слова, она прошлась по избе с плошкой чая, побрызгала углы и села у порога.

Я наелся-напился её супу-чаю в одной чашке, залёг на топчан и дрых до вечера.

К сумеркам подоспели гости.

— Вчера в Слюдянке был, — сообщил Филипок, разливая водку. — Видел Калаша. Танька его едва под поезд не попала. Сломала бедро и обе ноги... Лежит в Иркутске.

— Бог есть! — задумчиво сказал я.

— Да, особенно если учесть, что она запнулась и упала на том самом месте, где бросилась под поезд жена Калаша!

— А как они сюда попали? — спросил я.

— По черемшу пошли... Калаш ведь все места здесь знает... Да, брат ты мой, за всё надо платить! Отомстила покойница!

На другой день я нашёл в сарае у Калаша лопату. Острую и добротную, как всё, что он мне оставил, и вышел в огород. Земля лежала готовая. Горячая, коричневая, с островками уже проросшей травы. Она манила к себе, как женщина, но приступать к ней было страшно. Как первый раз к женщине... Да я и не копал никогда землю. Разве что баловались в стройотрядах. А это была своя земля, и отношение к ней было другое.

— Иди, иди! Не бойся, — услышал я сзади трескучий голос соседки. — У Калаша земля, как пух. Он её сам копал.

Я перекрестился и воткнул лопату в землю. Работа шла споро, в охотку. И пахло от земли сытно, вкусно, как от хлеба.

К обеду припекло. Я спустился к ручью смыть с себя солёный трудовой пот. Вода поднялась в ручье, билась о прибрежный валун, сыпала алмазной капелью в руки. Я окатил себя ведром воды, ухнул и огляделся. Всё дышало весною вокруг. Силою, пробуждением, жизнью. Вокруг незримо, но ощутимо шла могучая работа природы! Во всём... В птичьем хлопотании, в жуках земляных, в берёзовом сладковатом соке, стекавшем в бутылку, которую вчера подвесил для меня Филипок. А главное, в ветрах. Они беспрерывно перемещали воздушные массы из края в край, из тучи в тучу. И на всём этом крутилось Солнце. Одно!

“Все на свете источники жизни одни, — подумал я. — Бог, солнце, родина, душа... И любовь... Вот что. И жизнь даётся один раз!”

И я стоял, как думал, в самой её середине, переживший её крах, горечь и отчаянье. И я впервые встретился с землёю, как со смертью. С её суровым, но хлебным духом, и были ли в этом надежда или крах, жизнь ещё или её конец, я не знал.

Над бирюзою Байкала закрубились тёмные клубни иссиня-чёрных туч, и их внезапное пришествие предвещало скорую майскую грозу...

И оттуда, издалека, слабо, но внятно доносился до меня колокольный звон, призывающий к повечерию.

Июнь 2020